



**Дружба
народов**

10/2022



В номере:

Утопическая повесть

«...Я служил ведь. В армейке сначала, потом спецназ. Но это ладно... не об этом. В общем, всё складно было. До полной выслуги — тьфу, всего ничего... Служба была... повезло с отрядом, это да... без дерьма этого, знаешь... без автозакон. На хорошем счету, опять же. Коллектив... Думал, отбарабаню до упора, на инструкторской останусь. Да и все так думали. И вдруг — хабах, как отрезало. Дальше без меня...» Всё это герой повести Дениса ГУЦКО и Дарьи ЗВЕРЕВОЙ «Герой России» — новоиспеченный 45-летний пенсионер Сергей Клобуков — рассказывает подростку-аутисту по имени Антон. Вышел в отставку, подобрал котёнка, подвернулась нереально недорогая двушка на вторичке... Потом оказалось, что прежнюю хозяйку жестоко убили, а убийцей назначили «особенного» внука. Жизнь Клобукова перевернулась ещё раз. И, вероятно, не случайно приходит на память замечательный фильм «Антон тут рядом».

У подножия Горы

2029 год. Араратскую долину заливают дожди. Мир охватили региональные войны, потом пандемия, потом Большая война. На Земле наступил ад: убийства, беззаконие, безвластие... В антиутопии Ованеса АЗНАУРЯНА «За сто тысяч лет до взрыва Бетельгейзе» государства исчезли, границы стёрты, функцию единого координатора выполняет через своих миротворцев ООН... Как не предать любовь, совесть, веру в человека? Как сохранить память и связь времён? Явится ли новый Ноев ковчег?..

Идти на свет

Поэзия этого номера — попытка выстраивания жизненной философии. Владимиру ГАНДЕЛЬСМАНУ важно проговорить, что «смерть обыденна всегда, / а жизнь внезапна», что бывает печальное чудо, «когда свет вовне убывает, / но светится дно», что может иссякнуть стих, но не любовь. Дмитрий АРТИС убеждает: «Жить захочешь, / выживешь, прорастёшь травой / на полянке выжженной миром и войной. // Даже если обухом перебить хребет, / вытянешься облаком и пойдёшь на свет». Заир АСИМ рассуждает по-восточному мудро: «Жизнь твердит об одном: / у всего своё время / расти, быть, исчезать...»

Время течёт по-разному

Писатель Геннадий ПРАШКЕВИЧ — физику и философу Алексею БУРОВУ: «...Не выходит из головы апрель 2003 года. С замечательным киевским писателем Владимиром Савченко мы выступали в чудесном Киеве в Доме техники перед любителями фантастики. Глядя в большой зал, почему-то напряжённо молчавший, он закончил своё выступление несколькими неожиданными для меня словами: “Боюсь, третьей мировой нам не избежать...” И поблёл от гнева, услышав беззаботное: “Ну и что?” Дорогой Алексей, у нас ещё есть время? Иногда мне кажется, что мы уже здорово опоздали...»

Единичность голоса

«Стихотворцы как рыбы в море: кто плавает повыше, кто поближе к дну. Ну а поэт — та рыба, что выпрыгивает из воды. Пусть даже и плюхается потом обратно, в брызгах...» Фрагмент будущей книги Алексея АЛЁХИНА, собранной из записей и выписок больше чем за полвека, посвящён главным образом «Проклятому ремеслу» — сочинению стихов, поэтам и поэзии, теории, практике и психологии творчества, читателям, критикам, редакторам, издателям и прочему «внешнему миру»: «Что обнадёживает: я умру, а мир — останется».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

10'2022

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2022.
Подписано в печать 26.09.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 3359/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Сестре моей жизни. <i>Стихи</i>	3
Денис ГУЦКО, Дарья ЗВЕРЕВА. Герой России. <i>Утопическая повесть</i>	8
Дмитрий АРТИС. Оседлаешь коника и продолжишь путь. <i>Стихи</i>	56
Александр КАН. Сны нерождённых. <i>Повесть</i>	60
Заир АСИМ. Головокружительный воздух. <i>Стихи</i>	103
Алексей УСТИМЕНКО. Луковый Мулен Руж. <i>Рассказ</i>	106
Виталий ОРЛОВ. Почти хорошо... <i>Рассказы</i>	129
Женя ДЕКИНА. Пааа-любому. <i>Рассказ</i>	141
Евгений ДЪЯКОНОВ. Забыв земные спецэффекты. <i>Стихи</i>	158
Ованес АЗНАУРЯН. За сто тысяч лет до взрыва Бетельгейзе. <i>Рассказ</i>	161
Виктория ЦОЙ. Два рассказа	188
Сергей УТКИН. Как остаться запятой. <i>Стихи</i>	198

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Алексей АЛЁХИН. Проклятое ремесло	201
---	------------

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О здоровых и прокажённых. <i>Два письма на одну тему</i>	217
--	------------

НАЦИЯ И МИР

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Алдан. Несцепленные шестерёнки, или Золото заката. <i>Документальная повесть. Окончание</i>	226
--	------------

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. С видом на Страстной. <i>Из цикла «Читальный зал»</i>	247
---	------------

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Ольга БАЛЛА. Свет испускают личинки пещерных комаров (<i>Л.Элтанг «Радин»</i>) ..	255
Валерия ПУСТОВАЯ. Проснулся ясновидцем (<i>А.Бушковский. «Ясновидец Пятаков»</i>)	259
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Музыка волн. Отклик из прошлого (<i>Неол Рудин. «Гул Москвы: Бессюжетные поэмы и другие произведения»</i>)	262

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Дивный новый канон: серия вторая	266
---	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Говорит молчаливое большинство	269
--	------------

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Художники Акмаль Нур, Манана Бобохидзе, Армен Амирагян, Гусейнкули Алиев,
Рахим Ахмедов, Ольга Бакицкая, Левон Абраамян

Summary	272
----------------------	------------

Владимир Гандельсман

Сестре моей жизни

Письмо

Где письмо с Голубиной
улицы, из глубинной
жизни моей-твоей,
с круглой печатью или
с треугольной? Мы жили
рядом, но ты правей.

Ты правей, у почтамта
деревянного, там-то
встретились мы, хотя
ты ещё не родилась,
ты ещё не рядилась
в память свою, дитя.

Где письмо с Виноградной
улицы безвозвратной,
где её мотыльки
с блеском жёлто-лимонным,
с профилем их наклонным,
маленькие мирки

в хатах, где жалкий идиш —
и жилец, и подкидыш?
Мой возлюбленный друг
с Паровозной, Кузнечной,
напишу: с Бесконечной,
мне дарованной вдруг,

где письмо с Водопойной
улицы, в полдень знойной,
пыльных коровьих стад
ввечеру, где тот зайчик,
девочка моя, мальчик,
солнечный сон и сад?

Вот оно, пред тобою,
где так вольно покою,
где ползёт муравей,
жизнь всегда допотопна
и всегда бесподобна
ты, поскольку правей.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт, прозаик, эссеист, переводчик англо-американской поэзии. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Автор 15 сборников стихов и записных книжек «Чередования» (СПб., 2000). Лауреат «Русской премии» (2008), премии «Московский счёт» (2011) и других. Живёт в Нью-Йорке.

био

где я вырос сказать где я вырос
там окно распахнуто и на вынос
занавеска тюлевая как парус
полощется на ветру
там на крышке рояля кактус
в вазе с дерева рода цитрус
апельсин во всю кожуру
светится апельсинясь

за буфетным стеклом как в рамке
вкруг графина хрустальны рюмки
двадцатипятиграммки
чуть войдёт кто они звенят
где я вырос я вырос в замке
в замке не на угрюм-реке
в той стране золотой спозаранку
среди волков и ягнят

там я с ними узорно вышит
точно в коврик настенный выжит
берейшит пашет пахарь пышет
сноп и мельница вдалеке
если хочешь собака брешет
снег ли запорошит и утешит
так что спишь и тебя там пишет
тишина в строке

В ноябре

Когда пантограф с провода, искря,
соскочит и качнётся, и застынет
троллейбус номер шесть, и тихо станет
в подлунном мире, я скажу: не зря
ноябрь в окне, и рифма к синеве
так неотвязна, и неотвратима,
так ей родна (и не родна — родима),
что блеском льда откликнется в Неве...
Секунда — и троллейбус задрожит
и тронется, мелькнёт фонарь слепящий,
секунда — и погаснет друг пропащий,
и ток воспоминанья пробежит:
посеребрённый инеем простор,
ты из гостей, от тётки, ты ребёнок,
и переулок, твой посеребрёнок,
как жизни богоявленной притвор.

Сестре моей жизни

Радость, радость моя, воссоздам
что потеряно: каплю счастья,
каплю лампочки в коридоре,
время, когда тепло было и в ненастье
и вэйзмир звучало как весьмир, а не горе.
Кто сказал «аз воздам»?

Сложим постель и её задвинем
в раздвижной диван.
Тесно, но рядом дышат родные,
и на подоконнике на синем
фоне (там небо, небо) раскрыл тюльпан
лепестки, и это, радость моя, выходные.

Воссоздам что потеряно: тебя, дитя,
только с улицы, от костра, пальцы в саже...
мать толчёт что-то в золотистой
ступе... в дальней комнате, ручку крутя,
вылавливает отец «вражьи
голоса» из шипа и свиста.

Помни, помни квартиру, во сне
мне явившуюся стихотвореньем.
Ты когда-то рассталась с ней на века,
потому воссоздам что пока
помню: банки с соленьями или вареньем,
паутину трещинок на стене.

В них маячили страны дивные, не пути
для побега, не проволока и гетто,
и не плач, и не тот на колёсиках чемодан.
Кто сказал «аз воздам»? Не слышу. Прости,
абсолютный слух (кто затеял это?)
мне, по-видимому, не дан.

Да и смотрю я в сторону дома, вспять,
восполняя сторицей разность
между живым и убитым, я
воссоздам что потеряно. Знать,
никакого отмщения и не надо, радость,
радость моя.

Снимок на балконе

июнь. в секундный покой его
сирень доносится со двора.
она ещё до всего, до всего,
прозрачная на просвет сестра.
черты лица её столь чисты,
как стих, где я с нею слит,
пока она из листвы, листвы,
солнцем напоенной, состоит.
и если сестра эта не моя,
и ветвь вдали не благая весть,
и если мальчик рядом не я,
то нет любви. но любовь есть.

Простые вещи

Ласково, по-матерински ласково,
с запахом губной помады.
Кегли. Шар и лакомо, и лаково
катит, катит по ковру... Зачем? Так надо.

Или по-отцовски празднично,
руки загорелые, воскресно,
трепетно, восторженно, горячечно.
Поднимается под полотенцем тесто.

Вдруг тебя окликнут не по имени —
по фамилии, и неродные
люди заберут. Так надо? Ты меня
не зови туда, где проходные.

Выйти? Но душа упрямо ленится.
Что мне мир и инвентарь его?
Что за этой дверью, кроме лестницы?
Господи... А дерево? А зарево?

А любовь? Ты прав, ты прав неслыханно.
Но за ней на цыпочках, незримо —
тени прошлого... Да, тихо, но
столь печально, что непоправимо.

без прописных

1

ты есть, и вдруг затих,
и нет, не будет больше...
я знаю, иссякает стих,
но не любовь же.
страх и его — едва сюда
пришёл — слепой накрап, но...
но смерть обыденна всегда,
а жизнь внезапна.
я знаю, кто меня ведёт
и что сулит, какие брашна.
гранатовое дерево цветёт
за всех. не страшно.

2

как быстро темнеет —
день, вспыхнув, погас.
но чудо всегда ли имеет
счастливый окрас?
запомни: бывает
печально оно,
когда свет вовне убывает,
но светится дно.
так музыка прячет
в своей глубине
нить краткую: время, а значит,
чудесна вдвойне.

Денис Гуцко, Дарья Зверева

Герой России

Утопическая повесть

Поначалу Клобуков не думал об отставке. Ранение не беспокоит, с нормативами справляется лучше молодых. Сам даже не вспомнил: вот они, рубежные сорок пять — выслуга с боевым коэффициентом плюс орден, можно проситься на пенсию. За несколько дней до Нового года кадровик встретил перед штабом, хлопнул по плечу: «Ну что, настал час Пи? Пионер-пенсионер, на районе новый хер?» Клобуков только хмыкнул — в том смысле, что с какого перепугу, ещё вся служба впереди. Была командировка в Весёло-Вознесенку — накрыли оптовую партию конопли — боевые дежурства, несколько задержаний.

Но «час Пи» вертелся в голове, как мотив, подхваченный в такси.

Михалыч уволился ещё осенью. И все знали — не по доброй воле. Сам он молчал как рыба, даже на отходной не проговорился. Хотя никакого секрета: столичные лампы освободили место для Капрелова, губернаторского зятя. Никогда за девятнадцать лет, со дня основания, отрядом не командовал человек со стороны. Оборвалась традиция. И много чего вместе с ней.

За Михалыча обидно. Но дело не в обиде. Не может стоять во главе отряда чужак. Тем более блатной. Тем более Капрелов, человек кабинетный, без опыта огневого контакта. Под другое заточен. Новый командир удивил привычкой гнобить подчинённых и коммерческой хваткой. Уже началось, поползло по швам: бассейн «Динамо» стал для бойцов платным, нанят сторонний зачем-то инструктор — гражданский, гуру практической стрельбы. Дальше — по нарастающей: люди начали дробиться и кучковаться, повисло напряжение, рапорты пошли на перевод — опять же, впервые за девятнадцать лет. Атмосфера предгрозовая. Рано или поздно рванёт.

И ещё Донбасс.

Гуцко Денис Николаевич родился в 1969 году в Тбилиси. Окончил геолого-географический факультет РГУ. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Новый мир» и др. Автор книг, в том числе «Русскоговорящий» (2005), «Бета-самец» (2013), «Большие и маленькие» (2017). Лауреат премии «Русский Букер» (2005).

Зверева Дарья Валерьевна родилась в 1989 году в Ростове-на-Дону. В 2011-м окончила химический факультет РГУ. Книжный блогер, главный библиотекарь Донской государственной публичной библиотеки.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

Что-то намечалось большое. Неспроста Капрелов самолично проводит ликбез про украинских нациков.

Не то чтобы обдумал — сложилось само, как родной ПМ на сборке-разборке.

Было так: третьего января, накануне дежурства, проснулся затемно, в четыре тридцать пять — и в голове лежало готовое, бесповоротное, как приказ, решение.

Он встал, подошёл к окну. Моргали жёлтым светофоры. Проскрипел тормозами бензовоз на повороте.

Без ребят будет пусто.

Люди сторонние — из тех, которые, залетая в их круг, задерживались на какое-то время и успевали хоть что-то разглядеть, говорили: у вас нет своей жизни. На самом деле в отработке штурмовых тактик, в боевых выездах жизни умещалось столько, что попробуй проживи.

Когда пришёл в отряд, Михалыч был начальником группы. К нему Клобуков и попал. С одной стороны, всего год — через год Михалыч получил подполковника и ушёл на повышение. С другой — самое начало, первые операции. На задержании в Звереве принял очередь в бронжилет, упал, где стоял — на линию огня. Если бы не Михалыч, который шёл замыкающим, там бы всё и закончилось.

С Ромой Филипповым подавали документы в один день. Ранены вместе, одной хаттабкой. В отряде шутили: хаттабские братья. Осень была. Ореховая роща. Растяжка пряталась глубоко под листвой. В госпитале отлёживались на соседних койках, читали вслух по очереди «Старик и море». Рома две недели выносил за ним утку, пока сам Клобуков лежал на вытяжке.

На горной подготовке в Зайцевке, когда так неудачно зацепился разгрузкой за скальный крюк, Женя Борисов отстегнул страховку и, рискуя сорваться, добрался до него по узкой террасе — только чтобы скрыть конфуз товарища от командиров. Запросто мог слететь с почти отвесной стенки. Но важнее было пройти дистанцию. Через полгода брали с ним группу Хасана. Отработали в паре — ни единой царапины, как на полигоне.

Клобуков от них ничем не отличался: вытаскивал, прикрывал, выхаживал. И так каждый. В любых сабантуях — когда собирались без жён и посторонних — цепочка воспоминаний, кто кого и где выручал, растягивалась часа на полтора.

Такая жизнь. Очень настоящая.

И вдруг как отрезало: уходить.

— Чем займёмся на гражданке? — спросил он вслух.

Тот, кого он спрашивал — тусклый силуэт в тёмном окне, — ничего не ответил. Больше спрашивать было не у кого.

Женился Клобуков дважды, сначала сразу после контракта, потом в тридцать пять — уже капитаном был. Света сорвалась через полгода после свадьбы — ни скандалов, ни записки, на балконе остались досыхать её шорты. Саша продержалась три года, но ушла так же внезапно — встретила с очередного выезда, покормила: «Как прошло? — Всё штатно», — а в спальне уже сумки собранные. Думал — голову сломал. Не понял, почему так. Уходили молча, как из пустого помещения. И что самое непонятное, до сих пор каждая присылает поздравительную эсмэску: на Новый год, на день рождения, на 14 и 23 февраля. Не открытку из интернета — а руками набирают: всего наилучшего, счастья, любви. И он им отвечает: любви, счастья. Странно всё, кто бы объяснил.

В отряде не ожидали, конечно. Капрелов предложил санаторий в Ялте, подумал и добавил инструкторскую должность — решил, что Клобуков выдохся. Клобуков объяснять не стал.

Парням попытался рассказать про то, как его подкинуло среди ночи — и как он пялился в жёлтые мигающие светофоры. Не получилось. Запутался в словах. Наверное, все только утвердились в мысли: устал, пора ему. У каждого свой срок. Служить — не в офисе плющиться, календарём не измеришь.

Отпустили. Ушёл.

Руку жали, фото на доску славы.

— Не забывай, пиши-звони.

Списывался, созванивался. Ходил в отрядную качалку и на субботний хоккей, когда набирались команды. Съездил на шашлыки: родился сын у Фатеева, позвали. Однажды собрались в Романовских банях всем отрядом — и те, кто служит, и те, кто в отставке. Даже Юрку Осипова сын привёз в кресле-каталке.

Но чем дальше, тем тяжелей давались ему встречи. У них продолжилась служба: отработка, боевые задачи. Даже шутки все оттуда. Как проводили обыск у цыгана, и тот разыграл спектакль: «Боже, боже, откуда в моём доме мешок наркоты!» Как в учебке старички подбивали салаг вытащить мембраны из противогазов перед марш-броском — дышишь легко, мчишь кабанчиком, пока не забегаешь в палатку с газом. А Клобуков рассказывать разучился. Вспомнит что-нибудь, поделится — и всё мимо. В лучшем случае вежливо посмеются. Не слышат. Будто сидят в вертолёте, а он на бетонке стоит под грохочущими лопастями. У них продолжилась служба, а у него так и не началось гражданки.

Позвонил Стелле.

— Думала, грохнули моего вип-клиента, — обрадовалась она.

Почему-то не сказал ей, что уволился. Обычно оплачивал стандартные два часа, а тут попросил остаться на ночь.

— Ого. Впервые за столько лет. Случилось что?

Пожал плечами.

— Да нет, всё штатно.

Стелла — лучшее лекарство. Но насовсем её не оставишь.

Пришлось придумывать, как одолеть маяту.

Телевизор продал через месяц: в больших количествах, оказалось, вызывает мигрень. На всех каналах психопаты и геополитики.

Съездил к младшему брату в Усть-Донецк. У Жоры трое дочерей-подростков, дурдом похуже телевизора — сёстры продержались сутки, а потом каждый вечер хоть стреляйся. Сходили за грибами, на рыбалку. Съездили к родителям на кладбище. Вспомнилось из детства кое-что. Всякое. Но больше хорошего. Отец, когда не пил, всё-таки интересный был человек. Про Крайний Север любил рассказывать: когда-то в школе мечтал стать геологом. Шли обратно с кладбища, голос матери как будто окликнул. То ли «погоди», то ли «не ходи». Пока работал, нервы были покрепче.

Жора говорит: «Переезжай к нам, не молодеешь, сведём тебя с дельной бабёнкой, своё хозяйство». Огляделся, примерился: нет, не то. Рутина, пьянство, дороги разбитые — и бабы такие же, вдрызг. Уехал. Жора, наверное, обиделся — грустно очень вздохнул, когда на вокзал вёз.

А дома всё то же: чем занять себя в потерханой однушке и как отключить осточертевший зудёж в голове. Не мысли — даже не обрывки — а какое-то недоброе

напряжение. Копится, сгущается. Каждое утро, перед тем как взяться за зубную щётку, Клобуков — уже по привычке — интересуется у растерянного человека в зеркале: зачем сбежал как подорванный, можешь рассказать? Не может. Молчит.

Придумал себе занятие: обои в комнате переклеил, перестелил ламинат, унитаз заменил.

Книжки взялся читать. Пелевин понравился.

От чесотки в мозгу и книги, и бытовуха отвлекали только на время: пока клеилось, пока пилилось и прикручивалось, пока Дамилола пересказывал очередной боевой вылет и подшаманивал существо своей фееричной Кае, — а когда заканчивался обманно напичканный делами и заботами, путешествиями в несуществующее день, Клобуков снова обнаруживал себя в ноющей опасной тишине, как в одиночном дозоре, выдвинутом так далеко от своих, что, если вдруг противник, на подкрепление можно не надеяться; и очень хочется писать письмо родным. Но нельзя.

Снова была ночь. Маялся, не спалось. Загулявшая компания долго прощалась у подъезда. Баба Тома за стеной отчитывала дочку — старую деву Наташу — за пересушенный пирог, и Клобуков в сотый раз подумал о переезде. Постепенно всё стихло, и он задремал. Запомнился отрывок сна, в котором он тащит раненого Мишку Савельева по оживлённой трассе, и водители возмущённо сигналият, кричат, вываливаются из окон по пояс, а у Савельева почему-то птичья голова. На обочину съезжает «Камаз», из него выходит полковник Зотов и начинает истошно мяукать. «Товарищ полковник, я вас не понимаю».

Клобуков проснулся, перевернул влажную подушку, перелёг на другой бок — и понял, что мяуканье доносится из кухни.

Котёнок сидел на ветке акации, привалившейся к стене дома года два тому назад — прямо за окном. Они посмотрели друг другу в глаза, и Клобуков спросил:

— Ты откуда?

В ответ мохнатый выдал пронзительную, исполненную возмущения тираду. Клобуков открыл окно, снял антимоскитную сетку. Не удержавшись, высунулся в ночь, глянул вверх: глухая кирпичная кладка, над выступом крыши — ничего, только пучеглазые звёзды и оспяная сизая луна.

— Разорался. Ворона тебя принесла, что ли?

Он вышел в прихожую, вытащил доску ламината из остатков, обмотал её полотенцем, полотенце прихватил скотчем по краям — не слетит — и вернулся на кухню.

Подрагивая тощим хвостом, котёнок следил за каждым его движением.

Ветка качалась, поэтому Клобуков подсунул доску снизу, под самые лапы.

— Как будешь готов. Давай. Ты можешь.

Уговаривать не пришлось.

Котёнок цапнул полотенце одной лапой, потом другой, и пополз, оттопырив лядащий зад. И хвост качается, как антенна полевой рации. Клобуков аккуратно втянул, опустил край доски на пол. Секунда, и котёнок — оказался он полосато-серым с розоватым пузом — деловито побежал по кухне.

— Ну, привет, — прокомментировал Клобуков. — Вставить бы тебе пистон за такую побудку.

Так и прилипло: Пистон.

Клобуков потом, случалось, задумывался, откуда выскочило это словечко. Пистоны, особенно на ленте, в детстве были великой ценностью. Кто-нибудь выходил на войнушку с пистолетом, заряженным пистонами, — и стрелял по-настоящему,

Дмитрий Артис

Оседлаешь коника и продолжишь путь

* * *

Если праздник, то счастье приходит звеня,
бубенец да гармошка полночи.
Запевала родня, посмотрев на меня
«...и закрыл свои карие очи».

Я — мальчишка, наверное, лет четырёх,
беспросветно улыбчив и прочен...
Но меня окрестила родня «кабысдох»,
напевая про карие очи.

Безотцовщина, много ли проку с меня,
если выживу, буду порочен.
Только я на беду был живее огня,
не закрыл свои карие очи.

Время делает шаг на полвека вперёд,
из родни никого не осталось.
Мои карие очи взяла в оборот
под гармошку унылая старость.

Если праздник, то счастье уже не звенит,
бубенец, будто бубен, клокочет,
но боец пожилой, уходящий в зенит,
снова держит открытыми очи.

Дмитрий Артис (псевдоним; наст. имя — Краснов-Немарский Дмитрий Юрьевич) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик. Родился в 1973 году в г.Королёв Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор четырех книг стихотворений, среди них «Мелкотемье» (СПб., 2019). Живет в Москве.

* * *

Блажен погибающий в первом бою,
с собой даже мухи не взявший.
Я родину самозабвенно люблю,
как полную грудь комиссарши.

На плечи закинув ручной пулемёт,
оправлю на кителе складки.
Куда комиссарша меня позовёт,
туда и пойду без оглядки.

Посажено солнце на маковку дня,
гудит, как встревоженный улей.
В открытом бою не уйти от меня
прицельно метнувшейся пуле.

Солдат из меня по всему никакой —
высокие берцы на замше,
зато, погибая, прикрою собой,
как родину, грудь комиссарши.

* * *

Жить захочешь,
выживешь, прорастёшь травой
на полянке выжженной миром и войной.

Даже если обухом перебить хребет,
вытянешься облаком и пойдешь на свет.

За горой какой-нибудь встанешь отдохнуть,
оседлаешь коника и продолжишь путь.

Хоть сады возделывай, можно жить кругом:
тут посадишь дерево, там построишь дом,

и закружат около дома налегке
сталинские соколы в чёрном воронке.

* * *

Со всех сторон предатели,
кругом одни враги...
Сто лет стоят у матери
в прихожей сапоги.

Отцовские, как новые,
с калошами рядком,
подошвы коронованы
железным каблуком.

На старте, что на финише, —
один потенциал.
Я раньше, даже выпивший,
сапог не надевал.

Отечества и отчества
ни разу не сменил.
Отец мой вроде плотничал
и пчёлку разводил.

У горизонта пасмурно.
Мне издали видать
разграбленную пасеку
и вражескую рать.

Играть судьбе изломанной
в бездомного щенка.
Горит, как зацелована
предателем, щека.

И жизнь ещё не прожита,
не набраны долги,
но я иду в прихожую
примерить сапоги.

* * *

У детей на историю
собственный взгляд,
они лучше нас понимают,
о чём говорят.
Вот и мой малолетний сын
словами вселенную грузит,
рассказывая о тех,
кто жил в Советском Союзе.

Взяв меня за руку,
водит по площадям
и говорит без умолку,
уши мои не щадя:
— Советские люди были
такими большими,
что не могли поместиться
в обычной машине,

поэтому чаще
ходили пешком:
когда на Берлин, а когда
за парным молоком.
Улыбались друг другу,
будто ничто не тревожит,
и были они, представь себе,
на памятники похожи.

А ещё советские люди
были умнее всех,
знания помогали
раскалывать грецкий орех.
Возьмут его в руки, бывало,
и даже не будут стараться,
орех разлетится сам
на тысячу электростанций.

Советские люди были
сильнее индийских слонов,
могли на субботниках брёвна
подкидывать до облаков,
и если детей обижали
свирепые бабайки,
то рвали советские люди
свирепых бабаек на майки.

Слушаю и удивляюсь,
вопрос возникает один:
откуда так много знает
мой малолетний сын?
Я ведь ему не рассказывал,
но память моя бородата,
точно помню, что были
такие люди когда-то.

* * *

Прилетела сойка,
села на забор
и сказала:
— Сколько
у тебя забот!

Встать
с утра пораньше,
выбежать во двор
и глаза таращить
на кривой забор.

Угадала сойка
все мои дела,
подмигнула
ой как,
будто поняла:

не в упорных спорах
с жизнью на кону —
ищут на заборах
и-сти-ну.

Александр Кан

СНЫ НЕРОЖДЁННЫХ

Повесть

А в чём исповедь, если нет греха. Может быть, исповедь в радости. Самая главная, самая настоящая-то радость и есть, когда слёзы и над бездной.

Евгений Харитонов

1

Когда Анна — после всех дневных забот — вытягивалась всем телом на кровати, ноги её предательски повисали в воздухе, и она вдруг вспоминала о том, что давно выросла из тех вещей, которые так тесно окружали её в жизни. Впрочем, любое её желание высвободиться из-под установленного домашнего уклада никогда не учитывалось никем из близких: что за чепуха? — и негласный уговор каменных стен, потолков и стариков-родителей неотступно сопровождал каждое её движение. Может, только ночью ей удавалось обмануть себя и всех в этом доме: тело её с глубоким вдохом приподнималось над постелью и — уже радостно — стремилось навстречу ночной свободе, но любой шорох, скрип, стон, долетавший до слуха, опускал её вновь на постылый постельный квадрат, заточал в его рамки. Плюх! — поворот головы, носом в подушку, тогда... да, именно тогда её несмелое тело начинало завидовать ногам, всё ещё парившим в воздухе, ноги же, виновато прячась под одеяло, делали вид, что ничего не произошло. Тогда — струна натягивалась до предела! — Анна начинала стремительно сокращаться в размерах: в клубочек, голова к коленям, точка соприкосновения, — взрыв! — и к этой точке, как к центру вселенной, уже стягивались невидимые нити со всех концов дома — из маминой, папиной комнат, из комнаты брата, пустовавшей уже много лет, с чердака, потолка, по которому, кажется, бродил по ночам недремлющий

Александр Кан родился в 1960 году в Пхеньяне (КНДР). Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алма-Ате, Московский институт электронной техники и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор многих книг прозы, в том числе «Век Семьи», «Невидимый Остров», «Книга Белого Дня», «Родина» и др. Победитель международных литературных конкурсов в Москве, Берлине, Сеуле, Анн-Арборе, Беркли. Живёт в Алматы (Казахстан).

Предыдущая публикация в «ДН» — рассказ «Костюмер» (2021, № 8).

домовой, — из всех возможных уголков, в которых вершилась своя тайная и особая — тараканья-мышинная — жизнь, с безмолвных семейных портретов, зазря подпиравших своими картонными затылками тяжёлые стены, из окон, наконец, за которыми никогда ничего не происходило, — крест да и только, голый крест... и вот через коридоры, стены, укромные пространства уже кто-то шёл к ней, неся на кончиках пальцев эти нити, словно шлейф новобрачной, — плавно, бесшумно, но Анна, казалось, совершенно отчётливо различала каждый его шаг, уже с трепетом готовилась, перешёптываясь со своими коленями, — ой, что будет? что будет-то? — колени тупо молчали, — вот войдёт *он* через мгновение, и она, сжимаясь изо всех сил, затаит дыхание.

И входил *он* — прочь дремотное мгновение! — бесшумно открывая дверь, переводил дыхание и уже приближался к ней, простирая руки с растопыренными пальцами, и Анна, окаменев и зажмурившись, уже совсем не дышала, и только нервный смешок — неучтённый — из глубины вдруг начинал капризничать и беситься, как в те далёкие времена, когда играли в прятки — она, брат и отец, мама на кухне, — хи-хи-хи, найдут или не найдут? — только этот смешок будоражил её — хи-хи-хи! — выдавал всему затаившемуся дыханию миру, что она ещё живая. Стоп: тс-с-с, не спеши, ради Бога! — *он* был уже совсем близко, замирал над ней, и было слышно — сквозь одеяло — его тяжёлое горячее дыхание, пальцы его, подбирая концы своих нитей, пробирались по одеялу к её комочку — помнишь? — два пальца в форме «Л» гуляли по её колену, отцовские, с трещинками и мозолями: идёт бычок, качается... — а тут сразу несколько — пять, десять, двадцать, — не понятно чьих, готовых вонзиться в неё, стянуть её в узел.

Господи! — если б кто знал: так продолжалось каждую ночь — в склепе одеяла, в могильной ограде кровати, с подушкой вместо кляпа во рту, колени в наручниках рук, — срок заключения одна ночь: жди-те, и тяжёлое горячее дыхание, словно дышал *он* за них обоих, жаркий ветер в лицо, — вечно чужой, а ей что в ответ? — своё недыхание? — о-о-о! — скатывалось, наконец, с её губ, и *он* тут как тут, словно этого и ждал, набрасывался, входил в неё через глаза, кожу, губы, уже искал, высвечивал что-то внутри неё. Нет, вы только представьте себе ощущение: словно кто-то внутри тебя дышит, бродит и рыщет по всем твоим углам, совсем не спешит — ужас! — вот же я, вот же, разве этого мало? — хотя, может, этого ты и хотела, если играть по-настоящему, то именно так — до самого доньшка, — ту-ка: нашёл, ну, скажи, скажи: ту-ка! тука — и дальше, здесь уж совсем становилось непонятно, для чего *он* приходил: вошёл, побродил и вышел — сквозь неё, безумец, безумный искатель, — куда-то вниз, под кровать просыпался, просунулся — ты уверена? — абсолютно, конец его дыханию: холод, сквозняк, одеяло на полу, серебристый, как рыба чешуя, рассвет — белое-белое, как больничный потолок, утро.

Потом она присаживалась, вся разбитая, мучительно тратя минуты на собственное высвобождение, руки по швам, ноги вытянуть, — дззыынь! — наручников как не бывало, и кровать по-прежнему казалась мала, но всё это — вздор! запомни, вздор! — если была б кровать огромной, как ты мечтала, то тебе нужно было б долго ползти до края, целую вечность ползти и ползти, чтобы попасть бездомными ногами в домашние тапочки. А тут — раз! — одним махом, и ты на полу — вот что значит маленькая кровать: стоишь во весь рост, босая, лицом к окну, за которым всё-таки что-то происходило — ночь сменило утро, — спиной к двери, которая, казалось, была заперта. И всё бы возвратилось на свои места — стена к потолку, потолок к стене, окна выходят наружу, если б не странная пустота в груди — воздуху! воздуху! — и если б не эти чёртовы

тапочки, которые она оставляла вчера именно на этом месте, безумные тапочки, бесившиеся по ночам, особенно с *его* приходом, бегали сами по себе, прятались друг от друга и своим утренним отсутствием лишь подтверждали тот факт, что всё это было. Было. Тогда она опускалась на колени и, всматриваясь под кровать — в тёмно-глухое пыльное пространство, — вдруг окончательно понимая, что — если *он* был, то исчез именно в этом чёрном лазе, о существовании которого она догадывалась, и значит, знали о нём только они вдвоём — *он* и она, и эта тайна связывала их и заставляла её ждать *его* в следующую ночь, в назначенный час, с непреложностью постового, и от этой мучительной предопределённости ей становилось душно, она сжималась, как прежде, и, не выдерживая, вдруг взрывалась, начинала судорожно дышать, — то, чего не удавалось ей на протяжении всей ночи: *на тебе! на тебе!* У-у-у-у, — уже выдувала она из себя ветер, изо всех своих сил, — отдышаться за всю свою ночь не-дыхания. У-у-у-у, — прямо в тот чёрный зрачок, поглощавший *его* каждое утро. У-у-у-у, — вернуть ему ветер, послать ему свой, который — так она втайне надеялась — когда-нибудь его нагонит.

2

Когда вдруг задуло, Шин очнулся, отрывая голову от трубы, — о, сколько же он так простоял в забвении? — в трубу он залез через люк, чтобы сократить расстояние, идти просёлочной дорогой было бы намного дольше, впрочем, тут дело не во времени, в конце концов, время работало на него, прежде чем дойти до конечного пункта, надо было тщательно разобраться в том, стоило ли ему возвращаться, и — чем для него являлось его возвращение? В таком случае, если дело не во времени, зачем же он залез в трубу, в этот сквозняк и холод, — идти, прислушиваясь к своим же гулким шагам? — акустический эффект, шаги уже опережали его движение, и казалось, кто-то идёт впереди, а он лишь тень незнакомца, уверенно шагавшего к назначенной цели.

Тень как тень, думал Шин, попевая за *впереди идущим*, главное, чтобы никто и ничто меня не отвлекало, тут как раз и помогли стены трубы, которые так тщательно запаивал безумный старик в своё время: каждая дырочка — это глазок, считал он, который следит за тобой, и если б труба была дырявая, на тебя бы смотрели сотни глазков, и ты бы никак не смог сосредоточиться на своём, а если ты решился вернуться, то, значит, ты должен думать только об этом и не глядеть по сторонам — не кивать и не подмигивать этим глазкам — сосредоточиться на своём движении — вперёд и только вперёд, — попевать за *впереди идущим*, который так нагло воровал его шаги.

В сущности, люди возвращаются двумя способами: первым и вполне традиционным: ты идёшь, тебя уже ждут, выстроились в ряд, на руках у них каравай, хлеб-да-соль, трубы, фанфары, петарды, конфетти — чего там ещё? — хлопушки, маленькие дети, если есть таковые, наклон головы — к детскому личику, шёпот — на ушко, на его нежное целомудренное ушко, — во-о-о-н, гляди, твой дядя-папа-мама-бабушка-дедушка-брат-и-сестра-простососед-простопрохожий — возвращается, такое бывает раз в жизни, приготовились? — по моей команде на счёт «три», все начинают действовать по заранее продуманному сценарию. Раз, два, три... и вот ты стоишь перед ними и жарко краснеешь, они думают, от радости, ты думаешь — от стыда, тебя спасают пока ещё эти несколько метров, разделяющие вас, но это вопрос всего лишь нескольких мгновений, согласно продуманному сценарию они набросятся на тебя, тот самый сопливый ребёнок ухватит тебя за шею, повиснет — племянник-сын-дочь-

внук-брат-и-сестра — вымажет тебе лицо клейкими слюнями, прочие, уступая малому, накинута со своих сторон, и ты, вероятно, повалишься наземь, уже неподвластный себе, пунцовый от ужаса, они подумают — от удовольствия...

Потом твоё тело внесут в дом, посадят на стул, сядут полукругом, рука к щеке, папа-мама-дядя-дедушка-брат-и-сестра, в зависимости от того, кто владеет моментом, наконец, произнесёт главное — то, ради чего они все собрались: ну как *там* у вас? Пауза. Хм-хм, у нас? Да, у вас. У нас?.. О, если бы я знал, как там у нас и что там у нас, — да, у всех в квартире газ, у меня в квартире лаз, через который я, собственно, и пробрался к вам, — пауза недоумения, все замерли, нет, я, конечно, пошутил, это у нас так шутят, ну-ну, понятно, так вот-вот, так, — пауза, о, если бы я знал, что там у нас, ведь не скажешь же им, что там, откуда я пришёл, — там пустота и, в сущности, ничего нет, да и быть не должно, но как вам всё объяснить? — не поверите, поднимете на смех, стану пунцовым, подумаете — от удовольствия, а я — от стыда, ну и ладно, выручит мудрый папа-мама-дядя-бабушка-дедушка-брат-и-сестра, в зависимости от того, кто владеет моментом, ты отдохни, соберись с мыслями, — с чем? мы понимаем, нелегко, ведь столько-то лет прошло, лучше мы расскажем о себе, думаем, тебе будет интересно, ну а как же? — так вот, слушай, с тех пор как ты ушёл...

...О-о-о-о, я не знаю, как вам всё это объяснить, и смогу ли я когда-нибудь это сделать, ведь на самом деле того места, откуда я к вам пришёл, для вас не существует, и вы будете абсолютно правы, хотя там и множество людей, но все так же, как и я, думали, что там что-то есть, но поняли, что там на самом деле ничего нет, но возвратиться — ух! — не каждый отважится, потому как все стойко делают вид, что там что-то есть, и так — до конца своей жизни, они даже собрались все перед моим отъездом, пальцы приставили к виску, вот-вот нажмут на курок, сказали, ты что, сдурел? куда ты едешь? — ведь там ничего нет, нет там ничего... о, нет, стойте, вы меня пожалуйста не путайте, ведь если здесь ничего нет, то где-то что-то должно быть — как нет? — презрение, недоумённые взгляды, круговая порука — сообщество воров, не укравших ничего в своей жизни, сообщество бездарных воров, ну и иди, чёрт с тобой, вернёшься, будет поздно...

...Так вот, продолжал тот, кто владеет моментом, — когда ты позвонил в первый и последний раз, было следующее... — вот я и пошёл, упрекали и шипели в спину: пре-да-тель, и они были правы, потому как я на самом деле их предал — своим уходом обнажил то, о чём они все прекрасно знали, — что там у них на самом деле ничего нет, такое не прощается никогда, пожизненный крест, а здесь в кругу близких, — да-да, я вас внимательно слушаю! — я тем более предатель, они даже стали смотреть на меня как-то по-другому, а тот сопливый ребёнок — кто же он на самом деле? — уже стал вертеть головой, обмазывать своими клейкими слюнями плечи, руки рядом сидящих — тс-с-с, сиди тихо! дай нам посмотреть на этого предателя, в этом я был совершенно уверен, что они так думают, это светилося в их глазах — *traitor throw transparent things!* — потому как ты их, в сущности, бросил много лет тому назад — если человек покидает это место, то он предаёт тех, кто там остался, с этим спорить совершенно бессмысленно, а все эти встречи с трубами и петардами — самый настоящий обман, лукавство с их стороны, чтобы дать тебе понять, что войти к ним, вернуться не так уж и просто — сквозь строй людей с детьми и пирогами на руках, сквозь жаркие рассказы о том, как именно у нас, а не у вас, — у нас, не у вас, да мы и знать не хотим, как у вас, тем более ты молчишь, воды в рот набрал, так там у вас положено? — мы думаем — от стыда, и правильно думаем, а ты думаешь, мы думаем — от удовольствия, и вообще, — скажет, наконец, папа-мама-дедушка-бабушка-дедушка-

Заир Асим

Головокружительный воздух

Чинури

Не даёт покоя эта старая восточная песня,
которую родители танцевали в квартире,
когда мы были детьми, в доме, которого нет,
когда у нас были деревянные окна
с белой облупленной краской, с форточкой,
комнаты были маленькими, окна потели,
там собирались все друзья родителей,
дети друзей, два поколения ровесников,
и мы танцевали эту песню,
звучащую из китайского магнитофона.
Время идёт так быстро, уничтожает надежды,
стирает молодость, разъединяет всех,
дни, осколки, листва, города,
мы есть или нас нет,
время идёт так быстро, молниеносно,
словно проходит одна большая вечеринка
и каждый танцует, как может, воодушевляемый другим,
каждый отрывается от себя, от прошлого, от времени,
лишь бы не оставаться в покое,
лишь бы быть в пульсирующем потоке,
беспощадный ритм, снег и зима,
осень и кофе, веселье и боль,
но никто не останавливается,
каждый танцует, как может,
со своим неутомимым желанием
быть частью,
быть безликим, судорожным, свободным,
быть абсолютным бдением.

Заир Асим — поэт и прозаик. Родился в 1984 году в г. Алма-Ата (Казахстан). Окончил механико-математический факультет КазНУ им.Аль-Фараби. Преподаёт математику и аргентинское танго. Автор книг стихов «Осиротевший крик сирени» (Алматы, 2010) и прозы «Письма в письмах» (Алматы, 2013). Постоянный автор «ДН». Живёт в Алматы.

* * *

У папы дедушкин смех. У меня папин.
Воскресенье. Лагман. Солнечный октябрь.
Мы говорим о душе, о его необузданном друге,
сорок шесть химий, а он отшучивается,
врач жмёт ему руку,
у некоторых людей нет стопа, нет сомнений,
только абсолютная жажда жить.
Вспоминаем, как ты женился на маме.
Узнаю новые подробности.
Какие были времена!
Дедушка дал слово бабушке и держал его всю жизнь.
Ты был ветреным, яростным, искренним.
Вспоминаем мою школу.
Я тоже долгие годы был яростным,
крик был моим вдохновением
и, как следствие, молчание — воздухом.
Всё ушло и живёт только в нашем диалоге.
Говорим о Кольжате.
Ты, как режиссёр, мечтаешь замкнуть эту историю гонений и горя.
Пусть могилы обретут покой.
Разговор закончится, я уйду танцевать,
а потом ты уйдёшь,
время закроется, как ночь,
и мы вновь станем одним целым.

* * *

В словах невозможно уйти от предметности,
стать чистой интонацией, произношением, движением,
слова преследуют себя, обнаруживают своё эхо, повторяются.
Стакан, вода, лёд металла, предчувствие и желание, о чём это всё говорит, если
этого нет, а есть лишь попытка опознать направление.
Я был, я жил, вставал, шёл, слушал дождь, любовался чувством, смеялся с друзьями,
молчал на кладбище с братьями, как перестать говорить прошлым, когда сам язык
мёртв, как мясо, наполнен воспоминаниями слов, вторичен, отрицает целое, ссылается
на другое.
Я хочу сказать открыто, как ветер, распахнуться, не утаивать, как словосочетание
люблю тебя, почти обнять, но в речи тесно.
Я перечисляю жизнь. Осень, дорога, дом, приближение тайны, головокружительный
воздух.
Главное выскальзывает из высказывания.
Всегда, то есть не отделяться, не уточнять место-время, как прилагательное,
живое, большое, перетекающее,
не знающее и не способное быть.
Пульсирующее и неуловимое.
Я без меня.

* * *

Сколько раз поутру
деревья октября
обнажат свою тайну,
как люди,
которые по-прежнему близки.
Прохлада и солнце.
Пыл и угасание.
Жёлтый и синий.
Снег и листва.
Жизнь твердит об одном:
у всего своё время
расти, быть, исчезать.

Алексей Устименко

ЛУКОВЫЙ МУЛЕН РУЖ

Рассказ

Довлеет дневи злоба его...

Мф. 6:34

Хранителю кабинета изящных искусств при Московском университете, тайному советнику Ивану Владимировичу Цветаеву, носящему придворный мундир с золотым шитьём, очки, а также белоснежные усы, то и дело вспухающие от дыхания и разговора, Москва подарила старинную, в её первопрестольном исполнении, мечту. То есть — колоннадный Музей подобных же изящных искусств: мраморная антика, железо средневековья и всякое другое, в оригиналах и копиях свежённое сюда ото всей человеческой цивилизации.

Анастасии Цветаевой, попутной воспитаннице именно всех этих изощрений, его, Ивана Владимировича, дочери, нынче как раз тоже подарили её мечтание: дозволили купить себе для проживания чёрно-бревенчатую конюшенку.

Брёвна конюшенки ещё не загнили. Ещё только-только начали светленько серебриться. Ещё пахли хорошим потным теплом лошадиного стойла. А потому вполне годились на раскатывание по брёвнышку и на временное существование — ползти друг за другом — в моменты их перемещения на отведённую для Цветаевой землю: на выселках села Пихтовка.

Двенадцать соток, чтобы жить огородом.

Отныне брёвна конюшенки, поодиночке перевезённые и перетащенные с утопанного конского места на место, дозволенное органами НКВД, или МГБ, райсовета или, кажется, поссовета — бог весть, как подобные органы, постоянно переназывающие самих себя, теперь означаются! — должны были утвердиться на

Устименко Алексей Петрович — писатель, редактор. Родился в 1948 году в Новосибирске. Окончил Ташкентский государственный университет. Работал собственным корреспондентом по Средней Азии ряда московских изданий, главным редактором журнала «Звезда Востока» и духовного литературно-исторического альманаха «Восток Свыше». Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг прозы, в том числе «Владимир — митрополит Среднеазиатский» (Ташкент, 2011), «Китайские маски Черубины де Габриак» (Ташкент, 2012), «Странствующие в золотом мираже» (М., 2018) и др. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живёт в Ташкенте.

Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Барса-Кельмес» (2021, № 6).

новом месте. Прописано и подтверждено: на государственных гербовых бумагах с фиолетово-смазанными словесно-неразборчивыми треугольно-круглыми печатями.

Обретённая собственность радовала и удручала.

Привязывая к внешнему миру как бы окончательно — ведь «на вечное же поселение!» (чего ещё никак не понималось) — собственность отнимала мир привычно вольный, внутренний. Для человеческого выживания вдруг оказавшийся совершенно не нужным.

Им не наешься и в нём не согреешься...

Чёрные же брёвна приобрелись, чтобы греть не метафорически. Возможно — что навсегда. Возможно — до последнего среди них её, Анастасии, дыхания... Возможно — даже и до неглубокой могильной ямины с мокрыми стенками из лопатами охлопнутой глины. С недлинным гробом в чёрном сукне.

На вечное поселение...

Семь дней вместо пяти она по этапу — в кузове грузовика — добиралась до вольного этого, до вечного места. Как в детской сказке: полями необъятными, степями неохватными, лесами дремучими, борами чёрными, рощами прегустыми...

Уж насколько было черным-черно ночное небо, но и оно посветлело от той темноты, которая окружила её со всех сторон, когда грузовик въехал на узкую дорогу в сосновом бору и понёсся по темноте, подпрыгивал на крепких корнях, вспучивающихся поперёк пути, ударялся об них, будто они каменные.

Наверное, можно было даже разбить лоб, если б наткнуться на эту лесную тьму со всей силы. Она зажала бы вечнопоселенцев окончательно, раздавила и сплюснула, если б не два луча от передних фар, подпрыгивающих вместе с машиной.

Лучи метались по гуашевой тьме, исчёркивая её дёргающимся светом.

И какой-то лисёнок, не успевший броситься в сторону, отбежать, выдернутый из тьмы вспыхивающими лучами, понёсся перед ними, метя длинным хвостом в разные стороны. Он был грязно-рыж, красновато-пепельного оттенка, длинен и не похож на юркого зверька — на оранжевого рисованного красавца с хитрющей мордой, скорее — на плешивую облезлую таксу с перепачканными в лесной грязи мелкими низкими лапами, которые почти не видны при его длинном теле.

Грузовик грохотал и нудил неровно работающим мотором. В кузове же говорили шёпотом — боялись спугнуть, что ли?

Лисёнок нёсся впереди машины, не забирая ни влево, ни вправо. Испуг сбил спасительные инстинкты. Зверёк суматошно летел, может, тоже боясь расшибить длинноносую морду о каменную темень.

Он бы и не вырвался никогда: свет дурил ему голову и держал зажатым в ярко дёргающихся клешнях.

Но лесные дороги не бывают прямыми. Грузовик ударился об очередной сосновый корень, расплескал на две стороны бурю лужицу и свернул на возникшем ниоткуда повороте.

Лисёнок свернул вслед за светом. Так как поворот произошёл неожиданно, зверь по инерции вынесся за границу парализующего луча, влетел в спасительную черноту, там и исчез...

— Сбежал! — вслух произнесла Анастасия, и все вздохнули с облегчением и засмеялись. Будто, наконец, унеслись они сами.

Понимали, что вечность хуже всякой тюрьмы.

В Колывани тихо моросил серенький дождь. Мелкие капли сыпались сверху рассыпчатым бисером, не шевеля тяжёлые лапы сосен, но заставляя ёжиться и подпрыгивать от мокрого холода остренькие листья берёз.

Грузовик укатил на дозаправку, оставив вечнопоселенцев на холоде перекусить и оправиться; воля, выдаваемая по случаю или — по закону, но — по кусочку, не есть воля. Но тот же колпак, надетый на голову. Только лишь с большим количеством дырок, проверченных в нём.

Колыванцы, не отодвигая розовых гераней, цветущих в жестянках на подоконниках, протирали изнутри запотевшие стёкла и без интереса смотрели на проезжающих. Смотреть за мокнущими людьми было скучно. Но не посмотреть — вроде как чего-то не исполнить.

Колывань — городишко напитанный: задарма ничего не подарит.

Зевая в поднятые воротники, расхристанные сонные тётки иногда выходили на улицу что-то обменять, поторговаться и поторговать тем, что у них залёживалось: малосольные огурцы и кедровые орешки в гранёных стаканах. Иногда, по глупости, покупали их цельными шишками.

Колыванцы поразились городской неэкономии: много ли нащёлкаешь с одной? Больше смолою облепишься... Но — не спорили, ссылая копейки в засаленные карманы и в носовые платки, то вытаскивая увязки из лифчиков, то засовывая глубоко обратно.

Немногие из этапируемых обзавелись первыми деньгами, догнавшими их телеграфно или с оказией. Большинство возилось и возилось внутри своих узелков и тонкофанерных чемоданчиков, ища — чего бы в обмен, впрочем, заведомо зная, что пригодное вряд ли найдётся...

Цветаева, кутаясь в мокрый платок, грызла орехи и счастливо смотрела вокруг.

Платки и кепки, переталкиваясь, тотчас обступали всякого, кто положил хоть секундный взгляд на гранёный, с подсыпанною верхушкой стакан, или — пусть мимоходом — нюхнул укропный запах утопленных в глиняных крынках зелёно-коричневых холоднющих огурцов. Оттуда их неторопливо доставали двумя пальцами: безымянным и указательным. Мокрыми от рассола, сцепленными, как китайские палочки.

Она знала, огурцы не сытней да и опасней: до следующей команды — «Выйти, оправиться!» — трудней дотерпеть.

Зелёный фетр приплюснутой шляпы одиноко маячил в отдалении ото всех, больше и больше темнея под постукивающим дождём. Иногда человек, её носивший, что-то вроде бы вспомнив, отделялся от стены здания, возле которого ожидающе стоял, и делал шагок в сторону торгующихся... Но снова, несомненно же передумав, возвращался под железный козырёк, державшийся на кованых ржавых закрутках. Под позванивающим железом можно было — до времени — потаиться от монотонного крапающего дождя.

И Цветаева пошла к нему. Может, ещё и поэтому.

Человек подвинулся, уступая сухое пространство.

— Клуб? — спросила она, глянув в полуоткрытую дверь.

— Собор, — односложно ответил тот. — Теперь фильмы крутят.

Подумав, добавил:

— Живоначальной Троицы...

В сумрачной глубине притвора, в угадываемом запахе пыли два высоких снопа пшеницы стояли мёртвыми часовыми, стреноженными архангелами.

— Покупают, — кивнула она в сторону переговаривающихся людей. — Изголодались...

— Изголодались, — согласился человек, шмыгнув носом и стёр с него рукавом прозрачную каплю.

Дождь куда-то вдруг заспешил, перестал стучать осторожно и зашумел единым сгустившимся гулом.

Вдвинулись ещё глубже.

Новая капля начала собираться на прежнем месте.

— Подержите, — виновато попросил он, сунув Цветаевой свой свёрток. Увесистый и тяжёлый. — Извините, — произнёс ещё раз и, отойдя в сторону, долго отсмаркивался, высунувшись под дождь.

— Есть же платок, — поморщилась Цветаева.

— Ещё раз — простите...

Он сдёрнул клетчатый платок с тяжёлого свёртка, и Анастасия увидела книги. Две штуки. Настоящие. Совсем настоящие. Из того, из её мира, который ушёл, даже забылся. А вот, оказалось, что есть.

— Ой, — сказала Цветаева. — Книги...

— И что? — усмехнулся человек в фетровой шляпе.

— А можно... Можно я посмотрю?

— Нежелательно, — сказал он. — Мокро.

Ветер косо ударил вдоль улицы, уложив серые струи дождя почти на бок.

— Зачем же вы их принесли?

Человек в шляпе задумался, глядя куда-то вдаль, поверх головы Цветаевой, но вдруг вспомнив, сам себе нерадостно удивился:

— Надо продать. Надо.

Сказал и стал тревожно смотреть, как Анастасия судорожно принялась шарить по неглубоким карманам, шевеля губами, доставая, подсчитывая...

— Этого хватит?

Его пальцы ещё перебирали мокрые деньги, а она уже чувствовала, как сунутые под мышку тяжёлые томики согреваются её теплом.

Не досчитав, он вдруг выдернул книги обратно. Подержав на ветру, обтёр их платком в шотландскую клетку, возвратил и быстро-быстро, оскальзываясь, побежал под дождём куда-то обратно.

Поля шляпы совсем потемнели, фетр напитался влагой, больше её не принимая. Вода струйками падала за воротник. В какой-то момент показалось, что он весело подпрыгнул от какого-то внутреннего удовольствия.

Очевидно, померещилось. Приморгалось.

Теперь машина неслась сквозь белёсый туман. Мокрые ветки так же были готовы хлестать холодными листьями по лицам, по головам.

Анастасия сидела позади всех, сильно наклоняясь, стараясь уберечь голову в промокшем платке от ледяных потоков встречного воздуха.

Жёлтое солнце, проглядывающее сквозь туман, походило на желток остывающей в небе яичницы. Очень хотелось есть. Но хлебные мешковины — питание, выданное на три дня пути, которых оказалось семь, — лежали пустыми, вытряхнутыми до последней крошки.

Чтобы отвлечься и попридержать нетерпение, она доставала из-под телогрейки

Виталий Орлов

Почти хорошо...

Рассказы

«Свете тихий»

Отцы наши не хотели принимать в молчании
благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал,
приносили благодарение.

Свт. Василий Великий

— Нет, я не буду знаменита.
Меня не увенчает слава.
Я — как на сан архимандрита
На это не имею права.

— Ты написала?
— Одоевцева.

Мама Славика была поэтессой. Точнее, — поэтом. Когда-то, её печатали в толстых журналах. Слегка пожелтевшие, они стояли на полках.

Потом печатать перестали, потому что редакторы бездари и завистники.

Мама сдавала свою «однушку». На эти деньги они жили в экологически чистой деревне. Им там досталась развалюха от бабушки.

Деревня была пустынной. На одном конце обитал фермер, державший хозяйство. На другом — Славик с мамой. И ещё несколько дачников-пенсов приезжали летом.

Весной много гектаров земли неподалёку выкупили люди из Москвы. Жизнь Славика изменилась. Появились лошади, появилась Варя.

Ему исполнилось семнадцать, здоровьем Бог не обидел, и Варя взяла его на работу. Один конюх с пятью лошадьми не справлялся.

Варя была на год старше, у неё уже имелись права и «Порше», но страстью были не авто, а кони. Славик предполагал, что она не прочла в жизни ни одной книги, кроме брошюр по коневодству.

Орлов (Рысев) Виталий Германович — прозаик, драматург. Священник РПЦ (МП). Родился в Свердловске в 1955 году. Окончил исторический факультет Восточно-европейского национального университета. Печатался в журналах «Новый Берег», «Нева» и др. Преподавал историю в средних и высших учебных заведениях. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Он хотя бы кое-что пролистывал из маминой библиотеки. Знал, что его чуть не назвали Райнером, в честь поэта Рильке. Но тогда надо было бы записать в свидетельстве: Райнер Мария. Маме показалось — это перебор.

Вряд ли Варя слышала про Рильке. Зато бывала в таких странах, о которых Славик не имел представления. Даже нынешним летом пару раз слетала за границу.

Она была первым человеком, который платил ему деньги. Возможно, небольшие с её точки зрения, но для Славика — целое богатство.

Тогда он особенно боялся тёток из опеки. Говорили: они сразу лезут в холодильник, смотря, есть ли йогурт. Если нет, ребёнка забирают.

Он понимал — зайди они к ним, — ничего, кроме креплёного вина, не увидят. Мама пила умеренно, но ей нужно было в день хотя бы пару бутылок.

У неё случались и срывы. Тогда доходило до самогона. Такое происходило редко. В основном, если получала письмо из редакции. Последнее время журналы вообще перестали отвечать, поэтому она не выходила из нормы. Ясно, что при таком раскладе денег на йогурты и прочие детские радости не оставалось.

Но тётки пока игнорировали их домишко. Они выбрали другую жертву: приехали к фермеру и забрали сыновей. Девчонок почему-то оставили.

Потом Славика объяснили: кто-то накатал жалобу, будто он использует труд детей. Мальчишки действительно помогали отцу.

После увиденного страх усилился. На первые же деньги Славик купил этих паршивых йогуртов и других продуктов, которые, по его мнению, должны быть в рационе ребёнка.

Соседка-пенсионерка зашла в гости и одобрила ассортимент.

— Только, — подсказала она, — опека и даты на продуктах проверяет.

— Что делать? — спросил Славик.

— Съесть и купить новые.

«Так ведь никаких денег не хватит», — прикинул он.

Слава обедал в школе, ужинал при церкви, где помогал безвозмездно, но за еду. По воскресеньям батюшкина жена давала продукты «с кануна». Тем и питался.

Маме прокормиться было проще. Она всё время сидела в Интернете, сил много не тратила. Ела в основном сушёных кальмаров и картошку.

Когда появилась Варя и её кони, на приходских коров времени уже не осталось. Там взяли помогать бездомного, а Славик приходил лишь изредка.

Большая разница: еда — и живые деньги. Деньги нужны на глупости, без которых человек не может жить. Например, компьютерные игры в церкви точно не подарят. Или — хороший дезодорант. Зубную пасту, может, и дадут, а парфюм — вряд ли. Кроме того, человеку надо постоянно класть на телефон. Или — в город съездить, в кино сходить. Грустно без наличности.

Плюс — Варя. Ему нравилось на неё смотреть. Когда кто-то нравится — не поймёшь почему. Вроде и не красавица, даже грубоватая да ещё качается гантелями. От этого и фигура коренастая. Но когда на коне — глаз не оторвать.

Волосы густые, рыжие. Могла бы остричь, неудобно с длинными ходить, но тогда образ нарушится.

Славик знал, что имя Варвара значит — варварская. Точно такими готских всадниц он и представлял.

Конюшню и загородный дом возвели быстро. Будто поместье было всегда здесь.

— Кто он у тебя? — спросил Славик про её отца.

— Обычный предприниматель, — сказала Варя. — Просто они хорошие родители.

Понимают, что я — лошадиная фанатка. В Москве, при их средствах, конюшню не завести. А здесь — без проблем. И ты очень кстати попался. Знаешь, кто наш конюх? Бывший режиссёр. Лошадей не любит. Делает только «от» и «до». Ты — не такой. Поедем завтра купать коней?

Она посмотрела в глаза.

— Чего их купать-то? — смутился Славик. — Я их и так каждый день из шланга мою.

— Нет, купать в реке — совсем другое. Приходи завтра пораньше, прокатимся.

Она просунула руку Славику под рубашку, потрогала мышцы. На веранду вышел отец. Варя убрала руку.

— Приду, — сказал Славик и пошёл чистить конюшню.

Работалось ему легко, в голове звучали какие-то песни, неизвестно когда услышанные.

Лето было прохладным, но август и первые дни сентября оказались неестественно жаркими. У Славика начались занятия в школе, одиннадцатый класс, а Варя надо было в институт, но она всё тянула с отъездом.

Подкатила машина. В ней — два парня и девушка. Славик помог оседлать коней, гости и Варя уехали на прогулку.

Закончив работу, он прикинул, что может сегодня помочь на приходе. От деревни до асфальта километра три. В общем, ерунда. А если пересечь трассу, начнётся посёлок, и там — церковь.

Когда он вошёл, вечерняя служба уже началась. Он никогда не мог выстоять её до конца. Легче машину комбикорма разгрузить.

Но где-то в начале будет песня, которая ему нравилась. «Свете тихий». Пели три человека: Лиза — батюшкина дочка, его жена и учительница из музыкальной школы.

С Лизой он учился в одном классе. Сейчас она была в платке, длинном платье и не походила на ту, что в школе. Послушав, Славик вышел, стараясь не стучать по каменному полу. Но Лиза всё равно обернулась.

Немного постоял на крыльце. Вечерний свет был действительно — тихим. Утешал. Славик подумал, что о нём и поётся в песне.

Коровы с телятами ещё паслись. Он прошёл в хлев, увидел там беспорядок. Бездомный работал из рук вон плохо (если вообще — работал), и Лиза, похоже, не справлялась.

Четыре головы скота, иначе на небогатом приходе не проживёшь. Куры, кролики. Конечно, не Авгиевы конюшни, но... Он взял лопату и начал работать. После службы придёт Лиза, ей будет полегче.

Вспомнил, как Варвара прикоснулась к его груди, даже потрогал это место. Он почти закончил, когда Лиза пригнала коров. Начала доить. Одна бурёнка сначала не давалась. Славик обнял её за шею, зашептал на ухо какие-то глупости. Корова успокоилась, и молоко пошло. Наверное, правду Варя говорит: у него контакт с животными.

— Английский выучил? — спросила Лиза.

— Нет, — честно ответил он.

— Давай, позанимаюсь. Время есть?

— Полно.

Славик прикинул: мама сегодня получает деньги — жильцы переводят на карту. Она сядет на велосипед, поедет в посёлок, где банкомат. Конечно, поддаст немного и задержится у друзей.

Лиза налила ему молока. Они пошли в дом. Батюшка сидел за компьютером, его

жена пекла пироги для воскресной школы. Завтра она будет учить с местными малышами стихи и читать «Детскую Библию». Трудно сказать, доходит ли до них Закон Божий, но пирожки съедят с удовольствием.

Лиза ходила в душ, чтобы смыть запах хлеба, переделалась, стала разливать чай. Она была красивая и знала об этом. Одевалась хорошо, или, как сказала одна училка, — элегантно. Никаких тебе леопардовых принтов, блёсток и прочих сельских особенностей.

Славик знал, что одежду они с матушкой покупают в Москве, в магазинчике секонд-хэнд. Он как-то ездил туда вместе с ними.

Налегая на бутерброды, он успевал читать английский текст, совершенно дурацкий, как ему показалось. Граматику Лиза умела объяснить вполне понятно. Проще, чем в школе.

Они проводили вместе много времени и неплохо знали друг друга. Иногда Славик представлял Лизу своей женой. Конечно, хорошо, что она стройная и умная. Но она бы стала его ломать. Начались бы разговоры — поступи в институт. А зачем?

Бывает, люди думают — кем стать? Модельером, инженером, архитектором. Но Славик уже решил, чего он хочет для себя.

Он хочет быть слугой.

Самое главное, найти хороших хозяев. А дальше — он не подведёт.

Круто иметь красивую жену — глянул он ещё раз на Лизу. Только ведь такая заставит по струнке ходить.

Она вышла на крыльцо, проводить.

— Спаси Господи. Мне бы за три дня не справиться.

— Да ерунда. Извини, что редко прихожу. Я же работаю теперь.

— Помогаешь конезаводчице?

— Ну, до завода ещё далеко. Хотя, если покрыть кобыл и пойдут жеребята... — оживился Славик.

— Про покрытие кобыл расскажешь завтра.

Она осторожно притронулась к его руке и закрыла дверь.

Ночи в начале сентября уже тёмные. Но ещё тепло.

Славик шёл в деревню по просёлку, с трудом различая дорогу. Фонарей здесь отродясь не бывало.

Издалека увидел галогеновый свет. Машина неслась на него, и тот, кто сидел за рулём, похоже, даже не замечал пешехода. По характерной форме фар Славик узнал Варин «Порше». Едва успел отпрыгнуть. Внедорожник пронёсся мимо. Скрипя шинами, с большим заносом, вывернул на трассу и полетел в сторону Москвы.

Славик почувствовал, что всё же вымотался. Пошёл медленнее. Мамы, скорее всего, дома нет.

Её и не было. Даже дверь за собой забыла закрыть, так спешила за деньгами. Посуда тоже не вымыта. Он хотел нагреть воду и помыть, но тут же заснул на кухонном диване.

Очнулся под утро. Было душно и пахло кислой капустой. Тряся головой, он подошёл к газовому котлу посмотреть, всё ли в порядке.

Котёл горел ровно. Славик вышел во двор. Уже светлело, над рекой поднималось солнце неприятного красного цвета. Они несколько секунд смотрели друг на друга — Славик и выглянувший из тумана день.

Ополоснув лицо в дождевой бочке, он пошёл к лошадям. Вроде договорились на восемь, но лучше прийти заранее.

Женя Декина

Пааа-любому

Рассказ

Трамвай тряхнуло на повороте, он растерянно звякнул, и Нюта нежно погладила проступающий животик. Ей нравилось, что ребёнок постоянно с ней и чувствует то же, что и она, даже самое неважное, как этот звяк и перестук следом. Раньше она шла, куда звали, лишь бы не быть одной, отвечала на ласки только для того, чтобы кого-то целовать, терпела скандалы и унижения, а теперь всё изменится. Этот малыш укоренит её в мире — нужно будет вставать по расписанию, чтобы вести его в сад, варить ему кашу, стирать колготки, работать, чтобы его кормить. Да, будет непросто, но Нюта справится — она ещё в школе справлялась с неходячей мамой, а после её смерти как-то совсем растерялась. Теперь она соберётся. Она снова кому-то нужна.

— Да, малыш? — спросила она почти вслух, положила руку на живот и поспешила к выходу.

От остановки она обычно ходила по улице, район был беспокойный, но из-за беременности нестерпимо хотелось в туалет, и Нюта решила срезать кустами. На тропинке стоял мужчина и высматривал что-то на земле. Нюта уже собиралась развернуться — не хотелось встречаться с незнакомцем, но заметила, что мужчина приличный, аккуратный: синие джинсы, светлая клетчатая рубашка. Он Нюту тоже заметил:

— Девушка, помогите котёнка поймать! Сынишке взял, а он выпрыгнул у меня, и всё...

В туалет хотелось нестерпимо, но отказать Нюта не смогла — шагнула вперёд, стараясь разглядеть котёнка в зарослях:

— Кисонька, иди сюда, малыш! Кс-кс! Киса! А как его... — договорить Нюта не успела.

Мужчина толкнул её в спину, она полетела вперёд, стараясь подставить руку и не упасть на живот, но в следующее мгновение мужчина уже навалился сверху и принялся втыкать ей в спину какую-то длинную острую спицу. Спица проходила почти насквозь, это было невыносимо больно, но крикнуть Нюта не смогла — всё внутри залилось тяжёлым и душным. Нюта подумала, что хотя бы ребёночка не задел. И умерла.

Декина Евгения Викторовна родилась в 1984 году в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет по специальности «современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звёздный билет» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Кропаль» (2021, № 8).

Нашли её на следующий день, днём, юный скрипач, торопившийся в музыкальную школу. На допросе он так волновался, что не понимал вопросов. Свете пришлось сначала успокаивать его маму, которая злилась и не понимала, почему их тут держат, потом мальчика, и только потом спрашивать. На место преступления Света приехала поздно — Серов уже заканчивал.

Света подумала, что и он стареет: оплывать начал, и виски с проседью. Хотя следить за собой не перестал: идеальный пробор, стильные брюки в мелкую клетку, пиджак. Для их городка, где рабочие не моются после смены и едут домой в робе, это практически вызов.

— Вот она моя! — Он обнял её и чмокнул прямо в губы — всегда так приветствовал женщин, даже тех, с кем не спал. Пока ещё не спал.

Света на секунду задержалась в объятьях, вдыхая терпкий запах знакомого лосьона, и только потом посмотрела на труп. Около левой руки покачивался на ветру нежный голубой цветок, чудом не примявшийся. Стоять бы вот так, обнявшись с красивым мужчиной посреди леса, и чтобы весна, цветы, и никаких трупов.

— Восемь проколов. Чем — не понял, край рваный — проволока или спица кривая, — медленно проговорил Серов и отпустил Свету.

— Не отвёртка?

— Не. Тонкое и длинное что-то... Если только такая, знаешь, ток в сети проверять, они довольно длинные бывают, — он помолчал. — Девчонка, похоже, беременная была...

Его взгляд на мгновение дёрнулся, и Свете показалось, что он уже знает. Знать он, конечно, не мог: к гинекологу она сходила только сегодня утром. Врачиха под сорок с отросшими корнями волос, наверняка не в первый раз замужем, тянула одна двоих или троих бестолковых детей. В огороде они ей не помогали — пальцы её растрескались и почернели от земли. Муж пил, она ему запрещала — на запястье темнели характерные синячки: хватал за руки. Свету расспрашивала с особым женским торжеством. Будто бы вся её тяжёлая жизнь была гораздо лучше и радостнее, чем жизнь свободной успешной Светы, которая настолько одинока, что пришла к ней спрашивать про эко. И самое ужасное, что и сама Света так думала.

— Ой, ну зачем эко? Чего, совсем переспать не с кем? — спросила врачиха так, будто бы к ней самой выстроилась целая очередь любовников.

Это было обидно, потому что переспать Свете действительно было не с кем. На работе её окружали преступники, тупые опера и женатые следователи. На сайты знакомств она не заходила — там нужно выкладывать свою фотографию, а это было запрещено: её мог найти кто-нибудь из осуждённых, и добром бы это не кончилось. Подруг не осталось: сначала Света пыталась ходить на дни рождения и поддерживать связь, но подруги говорили о детях, ценах на подгузники, узорах для вязания, а Света могла рассказать только о том, как мужик убил соседа за бутылку водки, или как пятеро подростков изнасиловали бабушку. Гулять по улицам после рабочей беготни не было сил, а даже если бы и были, вид у Светы был довольно строгий, и знакомиться с ней не пытались.

Света прошла вглубь по дорожке — вдали виднелись улицы умирающего района, с гнилыми заборами, кривыми сараями и брошенными домами, которые местные постепенно растаскивали на дрова.

— Это не местный, — сказала Света участковому. — Там и получше места есть, кидаешь труп в погреб, и всё — мы бы её в жизни не нашли. Поспрашивай, машина чужая тут где-нибудь не стояла?

Участковый поспешил выяснять, а Света пошла обратно, к трамваю. Убийца явно неопытный — орудие с места преступления забрал. Значит, боялся. Если боялся, то к людям бы не пошёл, пошёл бы туда, где никого — к линии — между трамваями полчаса. Тропинка оборвалась, и внезапно открылось широкое пространство: рельсы, дорога рядом, поле. С орудием убийства в руках тут не походишь. Где-то здесь скинул. Света обшарила кусты справа, но ничего не нашла. Собралась уйти, но решила проверить ещё и слева — вдруг левша. И правда, слева в кустах обнаружилось самодельное сапожное шило с крючком на кончике и деревянной ручкой. Упаковала и отдала Серову.

— Ты ж моя умница! — обрадовался Серов. — Результаты вечером домой тебе закину?

Света кивнула. Ей нравилось, что Серов был человеком тонким и корректным, никакой похабщины он не допускал. После прошлого неудачного свидания пару недель назад Света думала, что они больше не встретятся: кончить он тогда не смог. До этого они уже спали, и не раз, и всё всегда получалось прекрасно.

— Презерватив нужен? — спросил он тогда слишком тихо, и сразу стало ясно, что всё он на самом деле понимает, жалеет её и готов, если она попросит, стать для неё донором. Мужем — уже нет, хотя пару лет назад ему казалось, что за такую женщину можно горы свернуть и жизнь отдать. Света сама не захотела:

— Ты же гулять начнёшь, а я не Юленька, я терпеть не буду. И смысл? Сейчас хоть дочка твоя с отцом растёт.

Он клялся, что не изменит, что такая любовь раз в жизни, но с годами понял, что она была права — влюблялся он снова и снова, а Юленька оставалась. Растила дочку, утюжила ему костюмы, крахмалила рубашки, покупала носки и не замечала ироничных полуулыбок его бывших и будущих. Или делала вид, что не замечала.

До знакомства Света жалела её и боялась встретить — представляла себе некрасивую бледную женщину, несчастную, терпеливую, и испытывала стыд при мысли о ней, а при встрече заметила у той в глазах недобрый торжествующий огонёк: да, вы красивые, яркие, сексуальные, но вас в его жизни нет. А я есть. Он мой. Я победила.

Вот и сегодня победила она — заболела. Серову пришлось идти к дочке на концерт, и Света осталась одна, с бутылкой вина и сыром. С плесенью. Ещё и унитаз начал подтекать.

Теперь в рабочем завале надо выкраивать время на эту глупую и скучную возню. Вызывать сантехника, ругаться заранее, чтобы пришёл вовремя, стоять над ним и смотреть на его откляченный зад, на застиранные синтетические семейники, оголяющие кусок волосатой задницы, пока он будет ползать по полу, отвинчивая болты под унитазом. Света открыла бутылку и позвонила в аварийку — наврала, что топит соседей. Через десять минут к ней в квартиру ворвался перепуганный паренёк с наивным до глупости лицом. Невысокий, полноватый, но настолько суетливый, что казалось, он занимает половину квартиры.

— Где протечка? Стояк перекрыли?

Он шустро скинул кроссовки, Света махнула ему на туалет и торопливо ушла в комнату — не хотелось даже на мгновение учуять запах прелых ног в синтетических носках. Не дома. На работе она каждый день видела подгнившие порезы, гематомы на пол-лица, чувствовала сладкий запах засыхающей крови, но дома хотелось чистоты, и даже протекший унитаз, казалось, оскверняет уют её маленькой квартиры.

Допив очередной бокал, Света вышла проверить работника. В голове уже

помутнело, и она опёрлась на косяк. Сантехник стоял на коленях, заглядывал за унитаз, а из-под джинсов его торчали белоснежные трусы. Свету это удивило. Носки у него тоже не пахли.

— Я подклеил, как мог, недельку простоит, но потом пааа-любому гофру менять надо.

Он вылез и замер, не вставая с колен, будто бы впервые увидел Свету и обомлел — может, и вправду, до этого не взглянул. Это было приятно, Света представила, как она выглядит со стороны — косметику она ещё не смыла, малиновая помада, ещё не седые, чёрные волосы волнами по плечам — роскошная дама в атласном халате — с бокалом вина в руках. Даже избалованный женским вниманием Серов никогда устоять не мог. А тут сантехник.

— Поменяешь?

Он не сразу услышал, а когда понял, что она что-то сказала, засуетился, вскочил и попытался напустить непринужденности:

— Чего? А! Да пааа-любому! Только у меня гофры нету с собой, я завтра приду, и...

Смешной.

— Вина хочешь? — неожиданно для себя перебила Света.

Он недоверчиво уставился на неё. Света подумала, что у него красивый рот и прошла в комнату.

— Там налеяй.

Он налил и сел на диван, будто прикрываясь от неё бокалом, и ступни развернул внутрь, подошва к подошве, как медвежонок. Это умилило Свету, у неё никогда таких не было. В академии она была первой красавицей, за ней бегали аспиранты и старшекурсники, выбирала она только высоких и симпатичных, бывший муж был похож на киноактёра, и все её остальные — тоже всегда породистые.

Сантехник обстоятельно рассказывал про себя, Света привычно задавала вопросы, не включаясь, как на допросе, и не понимала, почему не получается его соблазнить. Она уже, будто случайно, оголялась, закидывая ногу на ногу, уже халатик сползал с плеча — взгляд у него наливался тягучим и тяжёлым, но сантехник от этого только немел и замирал. Свету это удивило: красивые мужчины всегда действовали сами, иногда даже слишком напирая, а этого, видимо, нужно было брать самой. Это было странно, но забавно. Впрочем, он был слишком незначим, поэтому и выдумывать предлоги для прикосновений, типа поправить ему воротничок или разгладить складку, было незачем. Можно было просто взять. Подсела, поцеловала сразу в губы и обняла. В постели он оказался удивительно нежным и старательным. Красивые мужчины никогда так не старались, а этот был объективно лучше. Света думала, что испытает небольшую брезгливость — наверняка у него пузико, бледное тело и набухшие груди, но в процессе было не до рассматривания.

Утром Свету накрыла волна раскаяния: сначала была неприступной красавицей, потом разведёнкой, потом любовницей женатого, теперь переспала с сантехником. Что дальше? Подследственный? Бомж?

Разбудила его, уже когда собралась и кофе начал остывать. Он быстро выпил, пообещал вечером принести гофру, и от этого стало ещё противнее: за гофру она, что ли, с ним спала?

На работе зашла к Серову — тот показал тело.

— Скоро новые жертвы будут. Явно маньяк.

— Почему? — удивилась Света.

Евгений Дьяконов

Забыв земные спецэффекты

* * *

Отпечаток кленовый морозный,
отзвук каждой прожилки в снегу —
это оптика осени поздней,
я её рассказать не смогу

ни тебе, ни кому-то другому,
оставляя октябрьскую спесь,
в беспробудной зимы глаукому
этот мир погружается весь.

И блуждает кораблик наш, ялик
по просторам из снега и тьмы,
и всевидящий звёздный хрусталик
жадно ищем ослепшие мы.

* * *

Вчера весь день смотрел в окно,
а там — одно, одно, одно,
одно и то же: мир знакомый,
вполне законный, законный.

Хотелось выпить, но ни грамма
не принял, мысль пришла одна:
реальность та — стереограмма
в квадрате чёрного окна.

До слёз, до покраснения яблок
глазных, до боли целый день
я всматривался, с боку на бок
переворачивалась тень

Дьяконов Евгений Александрович — поэт. Родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил СПбГУКИ. Работает экскурсоводом. Участник Форумов молодых писателей в Липках и Школы писательского мастерства (2021). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Урал» и других. Живёт в Санкт-Петербурге.

моя, потом — пятиэтажки,
и вот всмотрелся — глух и нем —
сизу, вокруг не то Эдем,
не то подземный сумрак тяжкий,

иль пенье птиц, иль злобный рык,
артхаус по мотивам Босха.
И вырвать грешный мой язык
хотят, припоминая Бога.

За то, что в чёртово окно
всмотрелся, словно я — Иуда.
И хоть кончается кино,
себя не высмотреть оттуда.

А там — один лишь белый свет.
И нет тебя, тебя там нет.

* * *

Заикаться от правды и шуриться, глядя на свет,
выбор сделан уже, а значит, нельзя по-другому.
Этот снег, этот снег — то последний тебе комплимент,
я его пригласил к твоему П-образному дому.

Это память о чуде, как писал Леонид Аронзон,
остальное — не важно,
не важно уже остальное.
Колыбельную песню снежинки со мной в унисон
всё поют и поют, но уже невозможно другое.

Ну полгода, ну год, и в охотку не вспомню лица
твоего, твоего и запястий твоих акварельных,
и надену кольцо на исчезнувший след от кольца,
и уйду с головой в невесомость других колыбельных.

* * *

Выходишь из кинотеатра,
а жизнь воняет тошнотой,
не важно — Сартра ли, не Сартра,
не важно — с этой или с той.

Стоишь у входа в *синема*,
летят снежинки обречённо,
и чёрно-белая зима
коварная молчит о чём-то.

Посмотришь в падающий снег
и, словно жертва зимней секты,
вдруг выучишь небесный сленг,
забыв земные спецэффекты,

но одиночества хандра
и однодневности тревога
к тебе опять придут с утра,
а это, если честно, много

для человека... Всё, что тут,
и всё, что там, прими за данность
и проложи себе маршрут
из снегопада в благодарность.

* * *

Это море безумия, лес отчуждённости, поле
тишины и молчанья, молчания и тишины,
не осталось сомнений,
надежд и тем более боли
над бескрайним щербатым простором его белизны.
Километры мгновений свободолюбивую птицу —
этот взмах, этот взлёт, этот яростный сгусток ветров —
не позволят — заставят принять и понять как ресницу,
угодившую в глаз в результате отчаянных слов.
Этот снег, это небо, деревню на краешке ногтя
не оставить на завтра, не выписать задним числом,
я-то думал, а ты с ароматом берёзы и дёгтя,
перерыв, пересменок, но не перегиб, перелом.
Осознание этих неистово тинистых истин
никуда не ведёт, но выводит на некий рубеж,
где исходят теплом до безумия чёрные кисти,
и запястья, и плечи, и всё... перегиб, перелом.

Ованес Азнаурян

За сто тысяч лет до взрыва Бетельгейзе

Рассказ

На вершине горы был лишь кусок белого льда, над ним маленькое облако молча разматывало нити небесной пелены.

Грант Матевосян, «Буйволица»

* * *

Дождь продолжал идти, и вдруг где-то очень близко за ржавыми стенами мёртвого вертолётта Илюшин услышал шаги и голоса. Голоса были молодые — мужской и женский. Илюшин включил фонарик, спрятал крючок, нитки и крикнул на английском:

— Эй, кто там? Заходите в вертолёт!

Судя по форме, это оказались, как и он сам, миротворцы, оба в чине сержантов — девушка и парень. Весёлые, улыбающиеся, с каплями дождя на щеках.

— А мы и не догадывались, что можно зайти в вертолёт, — сказал парень, отдав честь старшему по званию Илюшину. — Мы относительно недавно в этих краях.

— Можно, — подтвердил Павел Сергеевич, пожав парную руку, несколько театрально кивнул девушке. — Вертолёт этот сбили давно, в 2020-м.

— Знала бы, что тут постоянные дожди, ни за что бы не приехала! — рассмеялась девушка, садясь на железный выступ под слепым иллюминатором и вытирая лицо бумажным платком.

— Теперь везде дожди... Откуда вы? — поинтересовался Илюшин.

— Я из Италии, Рим. Бывали у нас?

— Только по книжкам.

Девушку звали Летиция Феличчи, она была огненно-рыжая, деловая, и ей, как и парню, оказавшемуся шведом, тридцать лет. Парня звали Лукас Улссон.

Летиция рассказала, что жила в Риме вместе с родителями на via Francesco Maria Torrigo, в районе Battistini. Когда они умерли от Covid-19, стала путешествовать.

Азнаурян Ованес Грачикович — прозаик. Родился в 1974 году. Окончил факультет истории и основ права Ереванского пединститута, пятнадцать лет преподавал историю в школе. Печатался в «Литературной Армении», «Неве», «Дружбе народов», «Октябре» и других литературных журналах. Автор сборников повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010) и «Симфония ожидания» (Ереван, 2014), др. Живёт в Ереване.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «В ожидании весны» (2019, № 4).

Ну, а потом записалась в миротворцы, и её прикомандировали сюда, в Араратскую долину. Когда-то собиралась стать искусствоведом, но не окончила, понятно, образование, да и все музеи позакрывали, и делать стало нечего.

— Здесь я буду изучать древние цивилизации. Командование считает, что нужно восстанавливать память.

— Это программа такая?

— Да. Называется Return of memoгу. И начать я решила отсюда. Говорят, здесь когда-то был Всемирный потоп. И всё началось.

— Не исключено, — улыбнулся Илюшин. — Во всяком случае, я здесь по той же причине. Может, опять получится писать. Я писатель. Был. Давно. Знаете, из русских писателей некоторые здесь обрели второе дыхание.

— Так вы писатель? — рассмеялась Летиция. — Любите подглядывать и записывать?

— Любой писатель в той или иной степени вуайерист. Он заточен подглядывать, подсматривать, подслушивать, подмечать — это, собственно, его хлеб. Писатель — вуайерист и, конечно, эксгибиционист (особенно в модерне и постмодерне). Да ведь и читатель подглядывает за жизнью, чувствами совершенно чужих ему людей... Здесь я прохожу по программе Everyone can be helpful!¹

Летиция улыбнулась.

Начали обмениваться новостями. Что-то Павел Сергеевич знал, а чего-то — нет. Каких-то новостей не знали и Летиция с Лукасом. Например, что в городе всё ещё много невакцинированного местного населения, что протестов против вакцинарования, правда, нет, но и сопротивляемость чувствуется определённая. Впрочем, он, Илюшин рад, что нет протестов, лучше тихое сопротивление.

— Маленькие протесты, митинги не страшны, — убеждал молодой Лукас. — Они ни к чему не приведут. Вон, на Апеннингах уже почти все протесты закончились.

— Я вам могу сказать, чем закончатся митинги протеста, если они начнутся в полную силу тут, — возразил Илюшин.

— И?

— Концентрационными лагерями и резервациями. Как, впрочем, и в том регионе, который вы упомянули. И называть это будут «Зонами карантина».

Илюшин рассказал ещё, что сюда, в Араратскую долину, топливо завозят весьма и весьма нерегулярно. Что время от времени приходится ездить в город за всякими нужными в быту мелочами. Что местное население охотно меняет своё барахло, оставшееся с прошлых времён, на миротворческий яичный порошок, сою, галеты и тому подобное.

Дождь всё не хотел затихать, и когда начало темнеть, Илюшин предложил развести костёр прямо в вертолёте: не возвращаться же под таким ливнем на базу. Притащили ветки огромного тополя, поваленного неподалёку ветрами и дождями. Летиция и Лукас выложили дневной «миротворческий» паёк, и тогда Павел Сергеевич гордо достал из рюкзака флягу с коньяком.

— Откуда коньяк?! — удивился Лукас.

— Мне наш капитан привёз, англичанин, — ответил Илюшин. — Из города. Говорит, в городе таки кое-где ещё можно найти настоящий старый коньяк. А ещё у меня сегодня день рождения. Ну что, выпьем?

Стали отмечать день рождения Павла. Он поднимал шутливые тосты, делал вид, что по-стариковски брюзжит, что-то рассказывал, и ему нравилось видеть, как весело Летиции из Рима и Лукасу из Гётеборга.

¹ Каждый может быть полезен! (англ.)

— Знаете, что раздражало меня в Москве в последнее время больше всего?

— Очень хотелось бы знать! — смеялась чуть захмелевшая Летиция.

— А вот послушайте! Я не видел девушек на каблуках! Никого! Не говорю о высоких шпильках. Ну, хоть на маленьком. Так ведь нет! Разучились носить туфли на каблуке... Что-то, значит, кончилось! Причём, судя по всему, навсегда. И это печально. Знаете, Летиция, каблук в современном виде придумал ещё вам величайший изобретатель и художник Леонардо да Винчи, но, к сожалению, его изобретение вошло в моду лишь в семнадцатом веке. Полагаю, мода эта и закончилась в нашем веке, в двадцать первом. Вот так. Этот умник Леонардо математически доказал, почему женщинам необходимы каблуки — где-то пять-шесть сантиметров. Для центра тяжести. Если поднять пятки, то центр тяжести у женщин как раз и придёт на ствол позвоночника. Если без, то центр этот сместится либо вперёд, либо назад — за счёт того, чего у кого больше. Леонардо писал: «Тогда походка у дамы становится похожей на утиную, вперевалочку...» Такие дела.

— Каблуки — это жутко неудобно! — возразила Летиция. — Я, помню, надела однажды. Давно очень...

— Да, конечно. — Павел сделал грустное лицо, отчего Летиция и Лукас прыснули со смеху. — Но всё же... Что-то ведь всё же кончилось. Да? Если так пойдёт, то скоро исчезнут веера, вуали, шпаги. Печально... Смейтесь-смейтесь! Но как же без вееров и шпаг?

* * *

Старшему лейтенанту Павлу Сергеевичу Илюшину исполнилось осенью 2029-го пятьдесят пять лет. Он был историк по образованию, и воинский чин получил только потому, что его давали всем, кто заканчивал вуз старого образца. Павел был худощав, высок, с бородой (командование разрешало), и форму носил, как и все здесь, военную, с нашивкой-эмблемой ООН на правом рукаве. Попал он в эту страну, о которой раньше только читал, от безысходности последних лет — записался в миротворческие силы и сбежал из родной Москвы, где оставаться ему больше не имело смысла: не выходили журналы, не печатались книги, умерли те, кто был близок, уехали те, кто так и не стал близким или вдруг стал неблизким... Как он прожил последние десять лет, теперь уже и не помнил. Всё, казалось, было затянато толстым слоем тумана, и память ничего существенного не сохранила. После двадцатого года — сплошной провал. Он лишь помнил, что как-то наступил период, когда он повсюду находил игральные карты. Идёт и вдруг увидит под деревом, или рядом с урной — десятку трэф или шестерку пик, а то и вовсе попадались валеты, дамы и короли. Что это означало, Павел не мог объяснить. Наверное, это ничего не означало, только карты почему-то врезались в память. И ещё то, как он бродил по Москве и не узнавал людей. Все казались какими-то чужими. Изменилось даже выражение глаз, словно ходишь среди инопланетян, и от этого Илюшин погружался в ещё большую депрессию. «Осенняя хандра», — думал он каждую осень. И сам же удивлялся: вот оно как! Уже осенняя! А я ещё не сбежал от летней хандры, как не успел сбежать от весенней, не говоря уже о том, что, кажется, застрял в хандре зимней, прошлогодней... Так и жил он эти девять лет — от хандры к хандре. Когда же, наконец, понял, что никому не нужен **ВООБЩЕ**, он сбежал. Сюда, в миротворцы, старшим лейтенантом. Другого выбора не было.

Самая большая иллюзия заключается в уверенности, что у человека есть свобода выбора, думал Павел. Тогда как свобода выбора — всегда вопрос приоритетов. То есть

выбор лишь в том, от чего ты способен отказаться ради чего-то. Но, слушайте, разве это — свобода? Это же ловушка! Человек всегда в ловушке. Свобода может быть лишь в равноценности выбора, правильно? А так почти никогда не бывает. Всегда что-то случается, и ты выбираешь не в свою пользу. Это постепенно убивает в тебе что-то очень важное, дорогое, драгоценное. Может, поэтому Павел и не писал ничего уже столько лет. А ведь был когда-то хорошим и даже известным писателем. Невозможно писать, когда очень плохо, думал он. Невозможно писать, когда очень хорошо (впрочем, хорошо и не было). Невозможно писать, когда тревожно. Писать можно только тогда, когда *стабильно средне*. Даже если плохо, но чтоб рутинно и обыденно, день за днём (человек — существо, которое ко всему может приспособиться, привыкнуть, может, потому и выжил). Чтоб была Белая дача, или глушь Саратов, или Домик в горах. А не это постоянное ожидание глобальной катастрофы (ещё большей, которая и случилась таки). Он так и говорил Вене Дорошину, ещё до Первой Пандемии, незадолго до того, как того поместили в наркодиспансер: «По-моему, в мире что-то нехорошее назревает. Конкретно что, не знаю, но носом своим чую: явно что-то плохое. Куда-то мир несётся, но куда — не могу понять. А когда узнаем (узнаем обязательно), что именно происходит и куда несёмся, будет поздно. Как всегда. Что-то глобальное, крупное. Неприятное ощущение какое-то от всего этого. Как металлический привкус крови во рту».

Накаркал, в общем.

Так вот, думал Павел, в дни потрясений могут писаться только стихи, дневники да публицистика. Поэтам всегда везло больше, даже если их убивали. Прозаикам же вечно приходилось пыхтеть. И потом, думал он, кому писать? Для кого? Это как с музыкой. Музыка не должна улететь вверх, к Небесам. Там она никому не нужна (Бог и без того знает всю нашу музыку). В Небесах она теряется, расплываясь аэрозолем мельчайших частиц в бесконечности разряженного Космоса. Музыка с Небес должна спускаться на Землю, освещать и согревать, как прометеев огонь. То есть музыка должна быть нисходящей, а не восходящей. Ведь с Небес орошается Земля: без дождя земля погибает (кстати, десять предложений текста не заменяют десяти тактов музыки). Значит, писать нужно людям и для людей. Но кто сейчас что-нибудь читает? Раньше хоть читали Интернет. А теперь? Теперь и Интернета нет. В своё время мозг молодого поколения убили именно короткие видеоролики. И теперь имеем то, что имеем. Тем более что время в последние сорок лет слишком стремительно неслось, и люди, скажем, родившиеся после двухтысячного года, представляют и знают 90-е и вообще двадцатый век так же, как люди старшего поколения — времена строительства пирамид Хеопса (то есть никак, то есть ничего). А всё потому, что всё очень быстро поменялось, и образование, как всегда, тащилось в хвосте. Дело не в том, что лошадь была транспортным средством с начала четвёртого тысячелетия до нашей эры, и лишь в двадцатом веке нашей появились автомобили, самолёты, ракеты... Дело в том, что если что и узнавало молодое поколение, так исключительно из Интернета. Но стоило Всемирной сети исчезнуть, как наступил полный коллапс мозга (книг-то никто не читал уже давно).

* * *

Летиция вскоре уснула, разморённая коньяком и дымом костра, а Павел и Лукас остались пока сидеть. Лукас рассказал, что мама его умерла тоже в первый год Первой Пандемии, и опять настроился слушать — Павел очень интересно рассказывает.

— Спасибо, Лукас... Всё это память. Когда что любишь, всегда помнишь. Как сказала Летиция, Return of memory. Всё-таки это важно. Только я одного не могу понять. Почему всегда нужно выбирать между прошлым и настоящим, идти назад или топтаться на месте. Может, надо было выбрать будущее, попытаться идти вперёд? Что-то меня задерживает, тормозит. Я как будто пропал в своём прошлом. Что-то и потерял. Может, я постарел?.. Любите вы Летицию?

— Не знаю, — улыбнулся Лукас. — Нам весело вместе. Говорят, в наши дни любовь — это роскошь. Да и командование не одобряет. Любовь — это привязанность. Так ведь? Кто может теперь себе позволить привязаться к кому-то или к чему-то? Ну, полюблю я её, а её возьмут и переведут через месяц на другую базу, куда-нибудь в устье Янцзы. И что? — И вдруг воодушевлённо, почти по-детски так выдал: — Весь наш теперешний новый мир — похож на какую-то революцию. Вы не находите? Меняется всё, и это хорошо! Старое стирается. Всё новое вокруг! Сплошной белый лист!

— Один армянский писатель, друг одного русского писателя¹, когда-то назвал это «Перед белым листом бумаги». Белый лист бумаги — это всегда страшно... Это обязывает.

Павел не нашёлся, что бы сказать ещё, хоть и вспомнил, как его друг, поэт Дорошин, выдал однажды: «Все революции — как плохой секс». Павел пришёл тогда в восторг: «Как же это верно сказано!» Ведь всегда сначала кричат: «Свобода, равенство, братство!» — а потом всё равно используют механизм врача-изобретателя Жозефа Гильотена, ну, и какой-то генераль станет Первым консулом да ещё, чего доброго, водрузит себе на голову императорскую корону, и тогда Бетховен зачеркнёт посвящение на «Героической симфонии»². Даже если не учитывать всегдашний принцип Истории (принцип маятника), всё равно всякая революция — как плохой секс. И заканчивается она обычно фразой: «Караул устал!»³ Павел Илюшин не верил в революции. Революция приемлема только в культуре, был уверен он: в науке, искусстве, литературе: ну там — импрессионисты, Джойс, «Битлз»... В остальном же он признавал только реформы и законодательные акты (англичане-то умные всегда были: у них была только одна революция с одной реставрацией). И он подумал теперь: каким бы Камилем Демуленом ты ни был, твой же соратник и друг Робеспьер всё равно пошлёт тебя к изобретению мосье Гильотена. Но, не веря в революцию, он верил в Свободу, Равенство и Братство. Ни одна революция, к сожалению, не сумела их установить. Нет, он не то чтобы консерватор. Но он всегда с опаской относился к диктатуре пролетариата. Потому что утром всё равно похмелье. И расстрелы. Он не любил революции. И не верил революционерам. Хотя с романтической нежностью

¹ Имеется в виду Грант Матевосян, однокурсник и друг Андрея Битова.

² Это лишь «красивая легенда о разгневанном композиторе — противнике всякой королевской власти, якобы снявшем посвящение Наполеону Бонапарту, когда узнал, что Наполеон объявил себя императором. В действительности Бетховен просто собирался на гастроли в Париж. После того, как поездка сорвалась, Наполеон Бонапарт больше не интересовал композитора. Два года спустя в первом издании 1806 г. Третья симфония (бывшая симфония «Буонапарте») получила закрепившееся за ней название «Героическая» и была посвящена князю Францу Йозефу Максимилиану фон Лобковицу». — Светлана Кириллова. Людвиг ван Бетховен (биографический очерк).

³ Историческая фраза матроса А.Г.Железняка, который был начальником караула Таврического дворца, при закрытии заседания Всероссийского учредительного собрания 6 (19) января 1918 года в 4 часа 20 минут утра. Так было положено начало диктатуре партии большевиков.

Виктория Цой

Два рассказа

Семь дней

25 апреля

Привет, сынок! Вчера узнала, что ты есть.

Долго паялилась на две полоски, перечитала инструкцию, поняла, что не исключён ложноположительный результат. Понеслась в аптеку, купила ещё два теста и потом долго сидела перед чёрным экраном телевизора.

В голове роились мысли:

1. А как же отпуск на море летом?
2. Я постарею? У меня выпадут волосы и пломбы из зубов. И обвиснет грудь.
3. Что будет с работой?

Ну да, твоя мать — не самая последовательная женщина, и вопросы должны были следовать в ином приоритетном порядке, но это объяснимо, когда после стольких лет выясняется, что у меня нет никакого бесплодия. Ни первой степени, ни второй.

Твоему отцу я решила не сообщать. Он живёт в другом городе, куда я постараюсь больше не ездить в командировки.

А в клинику пойдём самую лучшую! Сразу после майских праздников. Пока не хочу никому ничего говорить.

8 мая

Привет, сынок! Ты разбудил меня сегодня ночью. Я открыла глаза в кромешной тьме, положила руки на живот и вдруг почувствовала какое-то шевеление, словно внутри плавает маленькая рыбка. Я подскочила, села на кровати и стала ждать, когда ты поплывёшь снова.

Ну и сорванцом же ты будешь, наверное! Совсем как я в детстве.

15 мая

Даже платная медицина не спасает от того, что тебе сразу дают понять: женщине за сорок обзаводиться ребёнком поздно.

Я вздрагиваю от прикосновений холодных инструментов, и врачаха велит:

— Расслабьтесь.

Виктория Цой родилась в 1967 году на Сахалине. Рассказы печатались в коллективных сборниках. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Потом долго стучит наманикюренными пальчиками по клавиатуре, выписывая направления на анализы, и выгибает бровку дугой на мой вопрос:

— Всё нормально?

— Поздновато вы обратились.

— Так получилось, доктор. Даже не думала, что это возможно.

— Поздравляю вас, мамочка! — говорит она торжественно и добавляет: — Через пару недель сдадите анализ на предмет выявления аномалий плода.

Плод. Обожаю этот их язык.

— Какие аномалии могут быть? Я не пью, не курю, слежу за питанием, веду практически здоровый образ жизни.

— Прекрасно, но возраст...

— Возраст?

— В любом случае, скрининг провести необходимо, — говорит она. — И принять решение по его результатам.

Протягивает ворох направлений:

— Тут всё расписано. Жду вас через две недели.

— Доктор, а знаете, он уже шевелится! — говорю я, запихивая бумажки в сумку.

Она изучающе смотрит на меня:

— Это невозможно, ещё рано. Вам показалось.

Выхожу из клиники, в машине гуглю в телефоне «генетический скрининг при беременности». Зря. Лучше бы не читала.

18 мая

Привет, сынок! Сказала о тебе твоей бабушке. Она переспросила два раза, словно не веря своим ушам, потом перекрестилась:

— Услышал бог мои молитвы!

Нравится мне эта манера старых коммунистов обращаться к царю небесному в затруднительных случаях. Хотя... Человеку нужно во что-то верить. Если не в святую троицу Маркс-Энгельс-Ленин, то в некую непознаваемую сущность, которую твоя бабушка представляет в виде благообразного старца с белой бородой. Как на маленькой иконке, стоящей на кухонной вытяжке.

После недолгих колебаний она всё же решила уточнить:

— Кто отец? — И после короткого ответа: — Неважно, — вздохнула, поджала губы.

Пригляделась:

— Что-то ты бледная.

— Всё нормально, мам. Через пару недель пройду скрининг на выявление аномалий плода.

— У нас в родне аномалий нет, — испугалась она. — Вот только твой дядя по отцовской линии...

— Он алкоголик, это другое.

Конечно же, она перезвонила на следующий день.

— Не ходи куда, истыкают живот иголками, ещё повредят что-нибудь. И вообще... Если (ой, не дай бог!) найдут аномалию, что будешь делать?

— Не знаю. И вообще, мам, поменьше читай в интернете всякую ерунду.

Не сплю. И ты не шевелишься, малыш.

Ночью вдруг вспомнилась семья, жившая по соседству: папа, мама, двое детей. Мальчик и девочка. Оба белолицые, пучеглазые. Мать выводила их на недолгую прогулку и стояла поодаль, пока они, держась за руки, тарасились на нас, носящихся по двору, прыгающих в классики и скачущих меж резинок, натянутых под коленками.

Как-то раз мальчик вышел один. Я сидела на качелях, болтала ногами. Он подбежал сзади, схватил деревянную перекладину и радостно замычал. Я взвизгнула, уронила недоеденный пирожок на землю и истошно заорала.

Выбежавшая из подъезда его мать успокаивающе заблеяла:

— Девочка, не бойся, он не сделает ничего плохого.

Так уговаривают испуганных прохожих владельцы собак. На два голоса, сначала тебе ласково: «Не бойтесь, он не кусается», — потом грозно — раззявленной лающей пасти: «Фу! Я кому сказала “фу”! Как не стыдно пугать девочку!»

Раздражает ужасно. Намордник надевать не пробовали?

Я спрыгнула с качелей, отбежала подальше. Мальчик расставил руки и пошёл на меня, и я завизжала громче.

Женщина схватила сына, потащила к подъезду. Он вырывал руку, оборачивался, и его плоское белое лицо с выпученными глазами за круглой оправой несколько дней стояло перед моими глазами.

Вечером отец, выслушав мой рассказ, нахмурился:

— Знаю эту семейку. Одного дауна родили — мало им было. Ещё и второго захотели. И о чём только люди думают?

О чём люди думают? Да ни о чём. Только просят, чтобы родился здоровенький, и плачут, и спать не могут.

23 мая

Весь день кружилась голова. После работы поехала за продуктами. Авокадо, цельнозерновой хлеб, творог, сметана — будущая мать должна разнообразно питаться.

В небольшом сквере возле супермаркета присела на лавочку дать отдых гудящим ногам. Вокруг сновали люди с набитыми доверху пакетами, по дороге неслись нескончаемые машины, а я смотрела на бело-чёрные тонкие берёзы, на жёлтые одуванчики, похожие на маленькие солнышки. Беременным надо смотреть на красивое, тогда и ребёнок будет красивым.

Глаза поднимаю — стоит. Маленький такой, лет пяти, наверное. Одет аккуратно. Курточка оранжевая, штанишки зелёные, длинные шнурки рыжих ботинок завязаны бантиком. Большие глаза на меня лупит, молчит.

Я отвернулась было, но он придвинулся, потянул за рукав. Меня передёрнуло, выступили слёзы. Нервы ни к чёрту.

Сзади скрипучий голос:

— Коленька, отпусти тётю.

Я голову подняла, встретилась глазами с улыбающейся бабушкой. Сухонькая такая, на голове белая панамка, в руках авоська, морщинистый тонкогубый рот покрашен розовой помадой.

Я зачем-то спросила:

— Он с рождения такой?

Она остро так на меня глянула, помолчала, но потом выдавила, словно через силу:

— Да.

— И как вы с этим справляетесь?

Бабушка вспыхнула, схватила мальчишку за руку, поволокла за собой.

Обернулась:

— Вы... — замолчала, но всё же продолжила: — Каждый день судьбу благодарю, что послал нам его. А вы, женщина, думайте, прежде чем такие вопросы задавать. Уму непостижимо, какая бестактность! — Она крепко сжала маленькую ладошку и пошла прочь.

Спина ровная, словно кол всадили.

Я поднялась, но голова снова закружилась, и я вцепилась в спинку скамейки, чтоб не упасть.

Они уходили, не оборачиваясь, не слыша моего бормотания: «Простите ради бога, умоляю, простите меня».

28 мая

Вика прискакала немедленно, кинула плащ в прихожей, прошла на кухню, плюхнулась на стул и велела:

— Выкладывай.

— Две новости, одна хорошая, другая плохая.

— Ну?

— Я беременна, — сказала я и стала ждать, пока она наскочит, наприжимает меня к мягкой большой груди и наорётся прямо в ухо.

Конечно, ей нужны были подробности. Кто, когда, почему сразу не сказала?

Коллега в одном из региональных филиалов. 20 марта, с десяти до часу ночи или 21 марта, примерно в то же время. Да, симпатичный. Рост 180, серые глаза. Женатый.

— Ну ты, мать, даёшь!

Вгляделась:

— А вторая новость?

— Врачиха сказала, что в моём возрасте не исключён риск генетических аномалий плода.

В Викиных глазах промелькнул ужас, и я заревела белугой (кстати, кто это?).

Она налила воды, принялась гладить по спине. Я пила, а она частила:

— Во-первых, это мы ещё посмотрим. И какой такой у нас возраст? Мне больше тридцати пяти никто не даёт. И медицина сейчас на уровне. Даже рак у детей лечат.

Я замотала головой:

— Представляю, сколько это стоит. А я одна.

— Ты не одна! А я? А мама?

Я всхлипнула, а она уверенно продолжила:

— А благотворительные фонды на что? Знаешь, сколько их сейчас? И артисты участвуют, и знаменитости. Вот только вчера девочку с лейкемией показывали, на операцию деньги собирали. Жалко так. Платок на голове по самые брови, глазки взрослые не по годам.

— Только не говори, что ты отправила деньги.

— Эсэмэской.

Я ахнула:

— С ума сошла? С твоей-то зарплаты? Лучше бы о себе подумала.

Поражаюсь я иногда людям, их вере в красивые сказочки. Критическое мышление? — нет. Не слышали.

— Знаешь, сколько денег эти фонды отмывают, прикрываясь больными детьми?

Вика поджала губы, помолчала, потом спросила:

— А вот если бы ты собирала деньги на больных детей, неужели взяла бы себе хоть копейку? Ну вот то-то. А другие чем хуже? Не все мошенники.

Повеселела, поднялась со стула, одёрнула платье:

— Верунь, я же немного. Сто рублей, редко — двести. Зато отправлю — и на душе легчает. А если это мошенники — невелика потеря.

Встала у раскрытой дверцы холодильника:

— Та-ак, яйца, молоко. Давай-ка тесто на блины наведу, а то ты, похоже, не ешь ничего. Вся вон замученная.

Через полчаса я макала румяные блины в смородиновое варенье, слизывала фиолетово-красные капли с губ. Вика ловко снимала лопаткой поджаристые круги с тяжёлой чугунной сковороды, выкладывала их на большое блюдо и приговаривала:

— Ешь давай! Мать должна за двоих есть!

Глютен вреден, сахар тоже, но остановиться я не могла. В животе потеплело, начало клонить в сон. Я прилегла на диван. Вика подоткнула со всех сторон колючее шерстяное одеяло и на цыпочках ушла.

Мне приснился старый дом. Обшарпанная песочница, скрипучие качели и я — в платье с весёлыми ромашками, хвосты подхвачены по обе стороны тугой резинкой, на голове белая панамка от солнца.

Я строю башню, рядом суетится соседский мальчишка. Мы нагребаем лопатками песок, но он осыпается вниз с тихим шуршанием и замирает у подножья разваленной кучей.

— Тащи воды, надо полить, — говорю я.

Мальчишка поправил круглые очки и понёсся к луже посреди дороги. Зачерпнул полведёрка грязной жижи, примчался обратно и стал песок поливать. А я стенки лопаткой прихлопываю, как куличики, чтобы ровные были, и башня наша всё выше и выше становится.

И так мне весело стало, так весело! И у мальчишки рот до ушей, аж слюна пузырится, и глазёнки превратились в косые щёлочки, как у китайца. Стал он скакать возле башни, как щенок, и от этого я ещё сильнее закатилась и проснулась, ещё смеясь.

В квартире было темно. Я поднялась с дивана, пошла по коридору, включая попутно свет.

На кухонном столе стояла тарелка с блинами. Я налила воды в кружку и, стоя возле раковины, стала вспоминать, где я эти серые глаза за круглыми очками недавно видела.

Вспомнила — и заревела. Вдруг в животе что-то сильно шевельнулось, и я замерла, стоя босиком на холодном полу. Подождала, но ты снова спрятался, сынок.

Под тёплым одеялом ноги согрелись. Зазвонил телефон, и твоя бабушка сообщила, что она пойдёт со мной на скрининг. Ага, за руку поведёт, как в детстве к зубному врачу. А я буду орать и вырываться и успокоюсь, только когда она пообещает мне купить мороженое в вафельном стаканчике.

Я отбивалась, как могла, но если твоя бабушка приняла решение, её невозможно переубедить. Это у нас семейное.

Завтра позвоню твоему отцу. Нужно узнать — были ли в его родне дети с особенностями развития.

И Вике скажу, чтобы больше никаких эсэмэс. Только напрямую фонду. И лучше небольшую сумму, но ежемесячно. Так удобнее планировать расходы — и им тоже.

12 декабря

Старенькая акушерка подсунула жилистую руку:

— Давай, милая, — говорит, — да не ори ты так! Ты же не одна. Ещё разок, голубушка, ну!

Привет, сынок! Счастье моё.

Сергей Уткин

Как остаться запятой

О прибытии расстояния

В зале долгого ожидания
На вокзале с охапкой слов
Ждёшь прибытия расстояния,
На которое будь готов.

Темнота. На перроне ночь стоит.
Морось шелестом по листве,
Как по осени жёлтой простыни.
На ветру сентября лист веет.

Это долгими разговорами
Проезжает страну вагон.
Это прячутся в смехе вороги.
Это бег. Это смех и гон.

Редкий свет законный, станции.
Дополняющий пассажир.
Распечатанные квитанции.
Пройден день. Ты его сложи.

Обернёшься наутро прожитым,
Ожиданием новых дней.
Только жизнь вопрошает: «Кто же ты?»
И желает, чтоб стал ясней.

Уткин Сергей Сергеевич — поэт, прозаик. Родился в 1987 году в г. Шарья Костромской области. Учился в Балтийском государственном техническом университете (Санкт-Петербург). Автор сборника стихов «Побег от привычек» (СПб, 2019). Участник Форумов молодых писателей в Липках (2010, 2017) и Школы писательского мастерства ЦФО (2022). Призёр международного молодёжного поэтического конкурса имени князя «КР» (2013, 2019) и др. Живёт в г. Шарья Костромской области. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Как стать раздумьем на скамье

Ждал поезда раздумьем на скамье,
Где у вокзала в град провинциальный
Я выходил историей взамен
Страстей гнетущих политеатральных.

Составы длились, тяжестью стуча,
Опасные размером, содержимым.
Июльский день на солнечных лучах
Бежал от нас, хоть сколько ни держи мы.

И пост охраны чем-то чёрным шёл,
Тревожную империй прошлых вехой,
Где человек не смог быть не при чём,
Где человек не мог не стать помехой.

В брошюре утверждался городок
Под старину, под фото и красоты.
И долго бился, словно бы итог,
Прожитый день, забравшийся в блокноты.

Скатился день, дорогой рокоча.
Лежало счастье в кошельке билетом.
И никогда не нужно отучать
Меня ходить вослед ушедшим летам.

Как уметь книги

Ох, как я умел кино!
И книги умел, и час их.
Теперь я совсем иной,
Хотя и умею счастье.

А прежде умел и вздох,
И слёзы в удел сюжетам
Над вымыслом, над бедой
Из книжки. А это. Это!

Не лёгкое ремесло
И не театральность жеста.
А это часам назло
Быть книжкой вместо. Вместо

Себя самого. Постичь
Героев, любовь и горе.
А это в себя вместить —
Сюжет и любви той вторить.

И долго искать листок,
И всматриваться в страницу.
И всё повторять итог,
Заучивать, словно лица.

Как остаться запятой

А весной апрель не унимается,
Катит солнышком с крыш в города.
Препинается, пререкается
И несёт к земле, словно палый царь,
Ясну голову капель палицей
Отзвевшая день вода.

И живу с весной я лицом к лицу,
И вприглядку живу, не на вкус.
То ль она ко мне, как истец к истцу,
То ли я пред ней, как конвой, несу
Всё, чем я бывал в том людском лесу.
А вокруг забывался куст

В свежей зелени. Укоряет сам
Нас — в прохожих, а их — в годах.
Запятыми идут, запинаются
Люди, капли, недели. И лает встарь
Всё пробывтое, словно бред, а
Вот тебя со мной не повторяется
Ни за что, ни про что. Никогда.

Алексей Алёхин

Проклятое ремесло

Толстенная эта рукопись, длаящаяся с 1968 года, много лет именовалась «Записи и выписки». Пока Гаспаров не выпустил книгу с таким же названием. Как-то он зашел ко мне в «Арион», и я посетовал ему на невольную кражу.

Церемонно наклонив голову, Михаил Леонович произнес:

— П-пп-риношу в-вам м-мои гл-лубокие из-зз-звинения!..

Рукопись теперь называется просто «Другая тетрадь». А тут кое-какие клочки из этой «другой тетради».*

Если у вас писательский комплекс неполноценности, сходите на выступление актуальных поэтов. Почувствуете себя гением.

В Зверевском центре прошла презентация коллективной поэмы «Облако без штанов».

«У современного русского авангарда в стихах и прозе трудное положение. Массовый читатель его не читает, потому что трудно, а подготовленный — потому что скучно...» (Михаил Гаспаров).

Слава Лён, поэт-белибердист.

В поэзии разница между ремесленником и творцом простая: первый умело находит слова, второго слова находят сами.

В идеале каждая последующая строка должна отчасти перестраивать, менять перспективу всего предшествующего стихотворения. Ну а последняя — расширить его смысл, обрываясь в пространство: наподобие Авиньонского моста.

Механизм поэзии состоит в способности наделять окружающий мир гармонией, в нем же и выловленной: проявившейся *в его отражении* — в гармонии *словесного образа*.

«Поэт постоянно занимается реставрацией разорванной картины мира, отправляясь вместе с читателем на поиски красоты, откуда видны широкие поля жизни» (Ян Пиларж).

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Автор многих книг стихов и прозы. Создатель и главный редактор ежеквартального журнала поэзии «Арион», выходявшего с 1994 по 2019 год. Живёт в Москве.

* Редакция мнение автора уважает, но разделяет не всегда.

Высказывания филолога и поэта о поэзии частенько так же разнятся, как рассуждения физика и портного о материи. Мне ближе портной: серпанка, саржа, креп-жоржет, чесуча...

Всего-то и нужно: карандаш да клочок бумаги.

Филологическая поэзия — это когда *многие знания порождают многие тексты*. Беда в том, что их потом печатают.

Поэты не пересказывают жизнь, но передают свое о ней впечатление. В этом смысле они все импрессионисты.

Жорж Санд: «Самое лучшее, на что может надеяться художник», это «заставить других, имеющих глаза, смотреть, как он».

После Матисса мне стал понятней Аполлинер.

Формальный «сюжет» мало что значит в искусстве. Натюрморт с кофейником и портрет девушки у окна могут решать одну и ту же художественную задачу — в сущности, быть одной и той же картиной. И наоборот — если одну модель пишат три разных живописца...

Незабвенный мой школьный учитель литературы всерьез утверждал, что обилие французских фраз в первых главах «Войны и мира» призвано вызвать раздражение светским обществом у читателя, вынужденного постоянно лазать в сноски.

Художник в социальном, да и чуть ли не в биологическом, смысле всегда уязвимее других, ибо нацелен *не* на выживание.

Работая над «Пугачёвым», Есенин не прочел ничего, кроме пушкинской «Истории...»: «Все равно лучше Пушкина никто не напишет».

Стихи должны быть такими, чтобы в них хотелось возвращаться, как в полюбившийся дом или в меняющуюся по временам года живописную местность.

«Слова литературного произведения должны обладать красотой, которой они лишены в словаре» (Рюноскэ Акутагава).

Художник как явление начинается в момент, когда почвой его дальнейших исканий делаются не окружающие его художественные поиски собратьев или предшественников, а его же прежние искания. Выходит, он нашел себя.

Иногда есть смысл на шаг вернуться. Так порой закрываешь книгу, перевернув страницу назад, — чтоб завтра сразу начать с сильного места.

Аполлинер: «Искусство — за пределами вкуса».

Прогресс в средствах передвижения пагубно отзывается на литературе.

Лошади, станции, трясучая дорога — пока доберешься из Петербурга в Москву, вся Россия пройдет перед глазами.

Из вагонного окна поменьше, но что-то видно. А на станциях и сама жизнь мелькнет — за далью даль.

Самолет же за шесть часов переносит в Иркутск, над всей закрытой облаками страной. От аэропорта до аэропорта, которые все на одно лицо: больше повидеешь, прокатившись в соседний дачный поселок на велосипеде.

Не надо робеть перед классикой, если она жива. Это мертвым приносят лишь цветы.

Подлинно несчастный человек стихов писать не может: они сами по себе — преодоление несчастья.

Вся Вселенная — одно большое стихотворение.

Истинный художник поступает подобно Кювье: тот описывал строение каракатицы, макая перо в ее же чернильный мешок. Макают перо в каракатицу окружающего мира, а не пишут умозрительной химией.

«Работайте не от общего <...> — это шарлатанство, а от частного к общему, по формуле “общее есть производное из частных, до последней степени развитых”» (Павел Филонов. Из письма к Вере Шолпо. Июнь 1928 г.).

Лев Толстой — слушатель и пониматель своих героев, Достоевский же ими шахматный игрок.

Похоже, активность формальных течений в искусстве связана с историческими периодами распада: по сути они аналитичны, а рушащийся мир, теряя ощущение целостности, оставляет эстетическому осмыслению лишь уцелевшие частности. Напротив, искусство эпохи расцвета монолитно и тяготеет к завершенной гармонии.

Другое дело, что «частностью» часто оказывается как раз человек.

Поэтическую фразу надо ловить новорожденной — едва вылупившейся и только что запищавшей.

Художественный образ, подобно дереву, присоединяет летучую жизнь к культурной почве, созданной прежними творцами.

Воротившийся из отпуска издательский редактор поэзии внешне был похож на чистенькую луковицу в очках. Весь он был какой-то светло-коричневый, с такими же гладко зачесанными назад жидкими волосами.

Близоруко улыбаясь и не слушая, он кивал обольщавшим его авторам, беспрестанно перекладывая на столе какие-то вещицы: ручки, карандашники, стряхивая с пухлых папок и рукописей невидимые миру слезы и пылинки.

В целом он напоминал завсезхозотделом какого-нибудь степного райкома, уже переведенного на другую работу, но еще досиживающего дни.

В искусстве «средства» не отличимы от «цели».

У стихов Эренбурга масса достоинств. Но они совершенно невкусные.

Аристотелев катарсис и есть, видимо, душевное состояние, сопровождающее принятие (полное или частичное) модели созерцания, предлагаемой произведением.

Критики пьют живую кровь. Литературоведы питаются падалью.

Чрезмерная отделка портит произведение. Всякая выходящая из мастерской вещь должна хранить на себе следы рук художника или его инструмента.

Можно быть и второстепенным поэтом. Вроде Тютчева. Или Ходасевича.

Стараться писать лишь то, чего не напишет никто другой.

В холле ЦДЛ Вознесенского обхаживал на диво подстриженный молодой человек при плоском кожаном чемоданчике и перстне с черным камнем: выцыганивал отзыв на свои стишки.

— А вы вот возьмите и напечатайте его, — посоветовал мне мэтр, когда дарование удалилось. — Надо бросать фишки, бросать! Кто-нибудь выиграет! — И он сделал рукой движение, каким кидают на стол игральные кости, изобразив азарт на лице.

Похоже, он верил уже, что успех в искусстве приходит по воле случая.

Строка должна быть живорожденной, а не высиженной, как в курятнике.

Сюжет — только предлог для литературы и живописи.

Ученик борется с материалом. А зрелый мастер, как Иаков, — с Богом. Т.е. с самим собой.

Читателем следует пренебрегать.

Дилетантское сочетание несочетающегося часто выдают за художественную смелость.

Попробуй угадать автора:

И в темноте, как призрак безобразный,
Стоит вельблюд, вкушая отдых праздный.

Пушкин! Черновик стихотворения «Кто видел край, где роскошью природ...»
А эстетика — обэриутов, «Столбцов».

Щуплому, подвижному Льву Озерову никогда не сиделось: он хотел бы и писать, перебегая от конторки к конторке, благо в его кабинете их несколько.

Поэзия не многим больше явление языка, чем живопись — явление оптики.

Рейн был похож на большую пресноводную рыбу.

Лениво шевелил плавниками, крупные пузыри слов один за другим выплывали у него изо рта.

Да и сам монастырский подвал, где проходило поэтическое сборище, казался стрельчатой внутренностью аквариумного дворца. В довершение сходства поставленный для гостя антикварный столик на одной ноге украшало какое-то жалкое комнатное растение вроде водоросли.

В искусстве у всякой задачи едва ль не бесчисленное число решений, не как в науке. К тому ж в науке найденное решение — ключ ко всем однотипным задачам. В искусстве оно тут же делается для остальных запретным.

Матисс говорил, что у каждого — только одна идея: «С нею рождаешься и всю жизнь только и делаешь, что развиваешь эту свою навязчивую идею, одушевляешь ее» (в передаче Андре Маршана).

Те, кому доводилось валить корявые деревья, например, старую яблоню, знают, что при кажущейся беспорядочности форм они удивительно сбалансированы и могли бы стоять на ровном спиле, пока не повалит дуновением ветра.

Так и в искусстве, с его кажущимся хаосом, авангард всегда уравновешен традицией.

Истинный поэт всегда поднимается над филологией, даже если ею увлечен: образ и чувство на миг опережают слово.

Литератор отличается от филолога тем, что второму книга Бахтина о Рабле интереснее самого Рабле. А пушкинистика важнее Пушкина.

Да у нас пушкинистов — как риелторов.

Чуть в стороне от микрофона на сцене установили красное воландовское кресло, в котором поэт-юбиляр терялся маленькой серой птичкой и из которого поминутно вспархивал облобызывать очередного чествователя — либо чмокнуть ручку, если дама.

Весь вечер птичка сохраняла торжественную серьезность, дирижируя хором похвал и выжимая из них всё до капли, до капли...

Пушкин питал страсть к игральным картам. Бродский, как оказалось, к географическим.

«...Стихи вовсе не чувства... (чувства достаточно рано проявляются у человека), они — опыт» (Райнер Мария Рильке).

Как соловьевскому Ходже Насреддину привиделся обобщенный Большой Бухарец, так и мне нынче ночью приснился Большой Меценат. Он приезжал на малиновом мерседесе, смущался как девушка и все посылал ко мне недотыкомку-референта с чеком.

— При имени Есенина слезы наворачиваются на глаза, — сказал на есенинском вечере Вознесенский и положил руку в карман клетчатого пиджака.

После чего вышли обтянутые смокингами крепыши татарского вида и завывли «Не жалею, не зову, не плачу...».

Хорошая рукопись лучше небрежно изданной книги.

Художественное изображение *всегда* содержит в себе и отношение к изображаемому, — не требуя дополнительных пояснений. Импрессионисты это знали лучше других.

Больше всего им не могли простить отсутствия сюжета: публике стало не о чем поговорить.

Нынешние «концептуалисты» проделывают как раз обратную операцию, подменяя художественное изображение рассуждениями вокруг него. Не удивительно, что от почитателей отбоя нет.

По сути концептуализм паразитирует на культурной традиции: на сложившемся представлении о том, что такое литература, музыка, изобразительное искусство. Предоставляя зрителям домыслить и тем заполнить отсутствующее содержание, устроители этих действий уподобляются таксидермисту. Концептуализм как чучело искусства.

У концептуалистов «театрализация», традиционная цель которой — привлечь внимание к новому искусству, подменила само искусство.

Кстати, своего рода концептуальным действием была и «эстрадная» поэзия, о которой они говорят с таким презрением.

Желтая кофта тем и привлекательна, что все так просто: надел — и ты поэт. А ты напиши-ка про то, как зажигают звезды.

Туда же и концептуалист на своем холощеном Пегасе...

Алексей Буров, Геннадий Прашкевич

О здоровых и прокажённых

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей!

В 2014 году в Луганске вышла моя книжка.

Небольшая. Хорошо оформленная. Называлась «Азбука вины».

Подзаголовок: «Извлечения из будущей книги». Так оно и было. Предполагал, конечно, что книжку продолжу: короткие заметки, фразы, размышления по поводу — все то, что никуда не входит, остается в голове. То, что видел, что слышал. Как говорил в далекие годы моего детства один токсичный сосед по Кирпичному переулку (станция Тайга): «Жизнь, как она есть». Затасканная, расхожая фраза. Но ведь многие, очень многие уверены, что нет для них в жизни ничего выше и краше правды (хотя многие при этом правдолюбцами ничуть не выглядят). Время идет, улей жужжит, и кажется, что вот сейчас, буквально сейчас многие индивидуальные правды сольются воедино и породят, наконец, главную, единственную, неутомимо всеми добываемую!

«И увидел я новое Небо и новую Землю; ибо прежнее Небо и прежняя Земля миновали, и Моря уже нет». (Апок. 21,1).

Но преследует чувство вины. За все сделанное и несделанное.

В книжке «Азбука вины» я вспоминал многое. Например, некоего Абрама. Послевоенные годы, инвалиды войны на каждом углу. Однорукие, слепые, перекаленные. Костыли, повязки, обмотанные тряпками доски на подшипниках, деревянные «кулачки», чтобы от земли отталкиваться. А у Абрама все было при себе: и руки, и ноги, и нос, и жесткие темные волосы, вот только все несоразмерно крупное — неслыханной тучности был человек. Не хочешь, а подумаешь: «Жрет много». Тогда ведь недоедали все, чувство голода казалось привычным и здорово утомляло. А этот, когда шел, колыхался, как студень. Никого не видел, ничего не слышал, весь в себе, казалось, трепетал над его головой какой-то отсвет, бабочка какая-то. Понятно, Абрам этот на фронте не был, какая война при его жестокой водянке? Пока выроет окоп, ему отстреляют все, что можно отстрелить. Все равно считалось: «Жрет много». На вокзале, на рынке сшибает куски, весь темный, весь в колышущихся складках, как темный военного времени дирижабль заграждения. И бабочка над головой — неслыханная.

Вот и вопросы. Куда от них денешься?

И на каждый ждешь ответа, хотя бы самим тобой найденного.

Жизнь, как она есть? Ну ладно, пусть так. Вот она, эта жизнь, плывет мимо, как тучный потрепанный дирижабль. Все всё понимают, но все равно думают: «Жрет много».

Или история студентки Ниткиной (я в то время преподавал в НГУ).

Жила эта студентка на одну стипендию, никого близких нет, мечтала о черном вечернем платье, прошитом золотой нитью. На выпускной вечер только в таком! А тут в стране финансовый кризис, стипендия сокращена. Все равно каждый месяц студентка Ниткина откладывала в заветную копилку-коровку сколько-то своих бедных студенческих рублей, а время от времени бегала в торговый центр посмотреть на заветные золотые нити, которыми будет расшито ее чудесное выпускное платье. Похудела, конечно, но это хорошо: ткани на платье меньше понадобится. И наступил, наконец, день, когда студентка Ниткина отправилась за покупками. Вот торговый центр, вот нужный отдел. Ох, а нет его, нет нужного отдела! Не пережил финансового кризиса, закрылся.

А отсюда депрессия, отсюда истинный гоголевский вывих: ведь купи Ниткина эти свои золотые нити чуть раньше, хоть на сутки пораньше, и выпускное платье было бы, и, может, владелец отдела не прогорел.

Почему в жизни все происходит не так, как в мечтах?

Книжка «Азбука вины» вышла в свет, но я даже в руках ее не подержал: весь тираж сгорел в луганской типографии, обстрелянной орудиями ВСУ. И, кстати, в те же странные дни одна наша хорошая знакомая из Киева, выглядывая в окно на майдан Незалежности, восторженно писала мне: вот свобода! Свобода пришла! Я спрашивал: а чем там таким горелым несет с майдана?

Ответ подразумевался: *свободой*.

Запах гари и крови, оказывается, не до всех этажей доходит.

Или история с лепрой. Это о поэте, однажды выступавшем в Доме творчества писателей Переделкино. Он прилетел прямо из Якутии. Длинные черные волосы, длинные блестящие ногти. «Пишу по-якутски и по-французски. Целью творчества считаю поиск правды. Все великие творили для вечности, создавали так называемую Красоту, а я творю ради правды, ради того, чтобы открыть людям глаза на лепру. Может быть, труд создал человека из обезьяны, но искусство человеческое точно порождено лепрой. Точнее, страхом перед нею. — Поэт был в этом уверен. — Все так называемые здоровые люди — больны».

«Прочтите стихи, пожалуйста».

«Я повторю их вам по-французски».

«Лучше прочтите, пожалуйста, по-русски».

«О нет, нет. Я не пишу на варварском языке».

Не знаю, что кому это напоминает, но тогда я вспомнил роман забытого писателя Георгия Шилина. Он так и назывался — «Прокажённые». В известной работе библиографа А.В.Блюма «Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917—1991; Индекс советской цензуры с комментариями» (Москва, 2003) о романе Шилина и о самом писателе следующее сказано.

«Навестив заболевшего проказой товарища, Георгий Шилин был потрясен судьбой заболевших. Жизнь лепрозория стала темой его романа, выдержавшего три издания в 1930—1931 гг. В колонию прокаженных, заброшенную на край света, приезжает новый доктор. Он заиклен на утопической идее — создать “Республику Прокажённых”, собирает больных, произносит перед ними пространственные речи. По его мнению, на земле нет иных классов, кроме двух: здоровых и прокаженных. Вот доктор и предлагает совершить новую (последнюю) революцию. Выбросить вон всех здоровых! Прокаженные управятся сами. Будет возведена своя культура, создано свое общество, выше которого нет и не будет никакого другого. Вообще не будет больше никакой классовой борьбы! Прокаженные всех стран, соединяйтесь!»

Скажете, историю делают не таким образом?

Ну, ладно. Если документы нужны. Вот выписка из монографии «Чукчи», изданной в 1934 году Институтом народов Севера ЦИК СССР. Известный русский этнограф Богораз-Тан не уставал удивляться рвению статистиков. «Когда местные казенные ученые, — писал Владимир Германович, — затевали соби́рание статистики по своим собственным домыслам, не списывая их с казенных образцов, результаты получались совсем оригинальные. Так, в архиве одного из камчатских поселков я нашел копию статистического рапорта следующего рода:

Пётр Рыбин.....23 года от роду,
Семён Берёзкин.....43 года от роду,
Иван Домошонкин.....47 лет от роду...

.....
Итого всей деревне.....2236 лет от роду...»

А на фоне всего рассказанного вот вам еще одна история.

Году в восемьдесят втором или восемьдесят третьем (прошлого, понятно, века) в Пицунде, в Доме творчества, в прекрасный летний вечер вошел в наш номер (я приезжал с женой) мой друг, прекрасный писатель Автандил Рухадзе. «Лидия, Геннадий, — доброжелательно сказал он, — зачем вы сидите в номере? Давайте спустимся в пацху. Там выпьем молодого вина, скушаем копченого мяса, попробуем свежий сыр».

О, эти дружеские разговоры!

В гостеприимной пацхе мы просидели до потемок.

Сквозь раскрытые настежь двери смотрели низкие яркие звезды, шумело близкое море. Мы пили молодое вино, кушали копченое мясо, пробовали молодой сыр. Но даже самые долгие, самые прекрасные праздники заканчиваются. Медлительно приблизился к столику хозяин — смуглый пожилой абхазец в белой рубашке. Спросив, понравилось ли нам у него, и получив подразумевавшийся ответ, все так же медлительно он — куда торопиться? — извлек из кармана белой рубашки крошечные деревянные счеты, почти игрушечные, и толстым умелым пальцем тщательно подсчитал сумму, в которую нам обошелся чудесный вечерний праздник. При этом хозяин смотрел на звезды, прислушивался к шуму моря. От всей души радовался тому, что мы так чудесно воспринимаем его заведение. Но когда подвел итог, я обалдел.

Прямо скажем, не совсем разумные цифры.

А мой друг Автандил несколько не удивился.

Так же доброжелательно и медлительно, как хозяин пацхи, он предложил свой вариант. «Послушай, дорогой, так получается, что мы выпили по семь литров молодого вина, скушали по три килограмма копченого мяса и чуть ли не два круга свежего сыра?»

Хозяин пацхи несколько не удивился.

Он вновь, все так же неторопливо и доброжелательно вынул из кармана рубашки свои крошечные деревянные счеты и впал в чудесный транс своих бесконечных и благожелательных вычислений. При этом туманно смотрел на нас, на перемигивающиеся в ночной мгле звезды, прислушивался к вечному шуму вечного моря. Наверное, знал что-то свое особенное, какую-то свою (возможно, истинную) правду об окружающем нас мире. Семь литров молодого вина... три килограмма копченого мяса... два круга свежего сыра... Какие проблемы? «Так и получается».

Это тоже было в книжке «Азбука вины».

Она была полна вопросов. И сгорела вместе с типографией.

Почему, почему все, что мы делаем, даже поиск истинной правды, приводит нас к греху? И почему, почему так редко то, что мы делаем, подталкивает нас к осознанию своего греха, своей вины?

Время беспощадно. Оно не стоит на месте.

Чем старше я становлюсь, тем сдержаннее оцениваю людей и события.

Я по-прежнему открыт для окружающих, меня любят друзья (так думаю), не терпят (так думаю) недруги. Я не холоден, не завистлив, просто даю понять, не надо меня обнимать, похлопывать по плечу не надо. И это не просто эстетическое неприятие. Здесь прячется что-то гораздо большее. Вот не выходит из головы апрель 2003 года. С замечательным киевским писателем Владимиром Ивановичем Савченко мы выступали в чудесном Киеве в Доме техники перед любителями фантастики. Тогда еще не думали о кострах на майдане... Или я, может, *далеко* жил?.. Но Владимир Иванович жил в Киеве. Он лучше знал, что к чему. Поэтому, наверное, глядя в большой зал, почему-то напряженно молчавший, он закончил свое выступление несколько неожиданными для меня словами: «Боюсь, третьей мировой нам не избежать...» И поблел от гнева, услышав из зала беззаботное: «Ну и что?»

Дорогой Алексей, у нас еще есть время?

Иногда мне кажется, что мы уже здорово опоздали.

Впрочем, само время в разных краях течет по-разному.

Помню чудовищно раскаленный Ташкент. Мой друг, писатель Николай Константинович Гацунаев, спросил меня: «Сколько там времени?» Я глянул на экран своих новеньких (но явно перегревшихся) электронных часов и честно ответил: «Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты». Вот сколько тогда было у нас времени! Все можно было успеть. И еще помню ночной аэропорт Софии, бормочущий голос сонного дежурного: «Нула часов, нула минут, нула секунд».

Какое время вернее? Чья правда важнее?

Разве случайно написано?

«Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били его по ланитам.

Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!

Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины.

Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Пилат, услышав это слово, больше убоялся.

И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю¹.

Слышите?

Если отпустить...

И тут уже совсем другие вопросы.

Кто подскажет нам правду, если даже наш собственный внутренний голос так часто лжет? Кто более прав: считающийся здоровым или прокаженный? Чья правда

¹ Ев. от Иоанна 19:1 — 19:12.

правдивее? Это только мой младший внук Стёпа, будучи совсем маленьким, умел убедительно объяснить все. Показывал, к примеру, нарисованную им картинку. «Ну чего непонятного, дед? Это вот елка. Это вот на елке сидит гусь. А это под елкой играет мальчик. Он подбросил над собой мягкую игрушку».

Дикующие Сибири тоже понимали все без подсказок.

Пример? Пожалуйста.

«Старичок был.

Старушка была.

Молодой сын был.

Точно лунный свет, так красив.

Надел лыжи, подбитые мехом выдры.

“Отец, мать, ухажу. Жену привести пора”.

В сендухе снег белый, северное сияние. Как китовые пластины, раскрашено ночное небо. “Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?” Звезды проглядывают сквозь небесный огонь. “Лыжи, лыжи, куда так быстро меня несете?” Снег, снег, вдруг ураса стоит. Одна, как гора, стоит. В урасе — полярный князец. Вошел к князю, к дочке посватался. Лег с нею рядом. Так близко лежали, что один и тот же сон видели. Потом вернулись. Вместе жить стали».

Кто же мы?

Алексей Буров

Дорогой Геннадий Мартович,

Ваше письмо об азбуке вины застало меня за чтением мемуаров Альберта Шпеера (1905—1981), видного архитектора Третьего Рейха, с 1942 по 1945 год — министра вооружений, а с 1946 по 1966 годы — заключенного, отбывавшего срок по приговору Нюрнбергского трибунала. Шпеер был любимцем фюрера; молодой, талантливый, энергичный архитектор проводил многие часы в дискуссиях о новом величественном облике немецких городов со своим не столь удачливым на архитектурном поприще старшим коллегой (1889—1945). Последний предстает в непривычном для нас облике увлеченного художника-проектировщика, предлагающего свои варианты, бегло набрасывающего зарисовки, спорящего, уступающего молодому дарованию и снова спорящего. Прекрасная творческая дружба архитекторов предстает перед нашими глазами! Шпеер прямо пишет, что Гитлер завораживал, очаровывал его — и личным магнетизмом, и открывающимися перспективами великих архитектурных идей. «Если бы у Гитлера могли быть друзья, я был бы таковым», — пишет Шпеер. Поэтому, а также из чувства долга перед отечеством, он и принял неожиданное предложение фюрера руководить военной промышленностью. Принял и руководил со всей отдачей, забывая и отдых, и семью, так что вскоре он, молодой, ничем не болевший человек, свалился с инфарктом. Но и это не остановило Шпеера — через несколько месяцев он поправился и снова взялся за дело почти с той же энергией. Надо сказать, что герр Шпеер не был ни антисемитом, ни пылким милитаристом. Но тогда вопрос — как же он смотрел на геноцид евреев и развязанную рейхом войну? А никак не смотрел — он как бы не замечал злодейских черт режима, они шли мимо его внимания. Не замечать их было естественно: ни о судьбе евреев, ни о начале войны с ним не советовались, его мнения не спрашивали, да и не должны были спрашивать. Вот как он сам писал в изданных в 1969 году мемуарах о своем состоянии ума в эпоху нацизма: «Склонность освобождать себя от обязанности

думать, в особенности о неприятных фактах, способствовала поддержанию моего душевного баланса. В этом я не отличался от миллионов других. Такая умственная расслабленность более чем что-либо иное содействовала, устанавливала и в конечном счете закрепляла успех национал-социалистической системы... Вступая в партию Гитлера в 1931 году, я не имел и малейшего представления, что четырнадцатью годами позже мне придется отвечать за множество преступлений, под которыми я, хотя и не отдавая в том отчета, по сути дела тогда подписался. Тогда я еще не знал, что заплачу двадцатью одним годом жизни за легкомыслие, бездумность и разрыв с традицией. Теперь я заплатил, но все равно никогда уже не избавлюсь от тяжести этого греха».

«Умственная расслабленность», о которой писал Шпеер, есть согласие человека работать на любые заданные начальством цели, не озабочиваясь той самой азбукой вины; это согласие на роль шестеренки, чья сфера ответственности ограничена ее размерами. Такую позицию можно назвать конформистской, инфантильной или рабской — смысл будет один и тот же. Бесспорно, что конформизм есть одно из слагаемых успеха национал-социализма, но не единственное слагаемое и, я бы сказал, даже не первое. Позиция раба пассивна; первая же роль в победе той или иной партии принадлежит ее энтузиастам, а не стадам безразличных. Слово энтузиазм, *эн-теос-иазм* — греческое, означающее одержимость каким-то богом или демоном. На выборах 1932 года за национал-социалистов проголосовала треть избирателей, а через несколько лет партия пользовалась уже всенародной любовью. Что же вызывало эти восторги, какой демон все более овладевал массами? Лишь немного посмотреть знаменитый «Триумф воли» Рифеншталь, как религиозный характер Национал-социалистической рабочей партии Германии раскроется во всей красе. Возвышенные речи, пышная символика, готовность к террору и развязыванию войны ради грандиозных целей, подлежащие массовому уничтожению враги, народное ликование перед вождем, абсолютная недопустимость иронии в свой адрес — все эти и некоторые иные религиозного типа аспекты присутствовали с самого начала того движения. Ну а поскольку подобный энтузиазм не связан с определенным теосом, божеством, точнее, на мой взгляд, называть такие идеологические образования псевдо- или эрзац-религиями. Европейская история, где-то с XVIII века — история ослабления христианства и вытеснения его либо эрзац-религиями, либо цинизмом. Нацизм не был ни первой, ни последней псевдорелигиозной идеологией. Ему предшествовал просвещенческий культ разума, патриотические угары всех мастей, позитивистский материализм, социализм, марксизм, социал-дарвинизм — это если называть лишь самые большие движения. После германского нацизма были новые патриотические угары, сциентизм, неомарксизм, экофашизм. Наверное, появятся еще и такие звери на этом поле, которых никто и не видывал пока. Христианские же церкви или уничтожались фанатиками эрзац-религий, как было у нас, или инкорпорировались в новую реальность на правах младших партнеров, как было у немцев, или тихо теряли прихожан и общественный вес, как это происходит на современном Западе. Это вековое угасание старой религии Европы, ее альма-матер, и было запечатлено в трагическом диагнозе Ницше «Бог умер». Почему так оно случилось — отдельный большой разговор, пока же я лишь ограничусь замечанием, что и вообще история до сих пор шла через взрывы старых картин мира новыми идеями, созданием новых картин на новом поле пониманий, взрывом и этих картин уже какими-то сверхновыми идеями — и так далее.

Но что такое эта «смерть Бога», Геннадий Мартович, и почему Ницше с таким ужасом возвещал ее? Бог стал умирать в сознании людей задолго до того, как они массово начали выражать неверие в его существование. Эта «смерть» случилась тогда, когда мы сняли с себя ответственность перед Всевышним за наши дела. Каким именно образом мы ее сняли — уже не столь важно, но в немногих словах скажем. Деисты сняли ее убеждением в том, что Бог есть Часовщик, создавший мир полностью предопределенным своим механизмом, так что свободы воли у нас никакой нет, все

мы подобны винтикам раз и навсегда заведенного устройства, и винить нас, стало быть, не в чем. По сути, это убеждение мало отличалось от аналогичных взглядов многих лютеран и кальвинистов, исходивших из той же предопределенности в силу всеведения Создателя. Многие католики и православные освобождали себя от бремени греха убеждением о безмерном милосердии Бога, который все простит, стоит лишь покаяться на смертном одре. Многие просто решали для себя, что жизнь несовместима с моралью, и знающий это Бог, конечно же, все простит. Иные полагали, что Бог скорее всего есть, но нелепо думать, что создателю миров есть какое-то дело до нашей морали. Вариантов тьма, а результат один — старая мораль Европы теряла силу, превращалась в необязательную, а то и смешную условность; образовавшийся вакуум заполнялся «национальной», «классовой», «дарвинистской», «социал-дарвинистской» и прочими видами эрзац-моралей и аморализмов. Единая божественная азбука добродетели и греха рассыпалась на множество противоречивых условных алфавитов, как при крушении вавилонской башни. Так что связь между человеком и Богом разорвалась, «Бог умер» не тогда, когда люди решили, что Его нет, а раньше — когда они стали жить так, как будто Его нет, пусть и не проповедуя пока атеизм, и даже регулярно посещая церковь и отмечая церковные праздники.

Существенное обстоятельство состоит в том, что многим тоскливо жить без великих общенародных целей и без великих побед над врагами народа. Особенно такие мечты кружат головы тогда, когда страна погружается в тоску и безнадежность, когда все больше людей ощущают вакуум смысла. Тогда и появляется острый спрос на героев, которые выведут заблудший народ к «солнцу правды». Вопрос только в том, какими будут программы этих героев. Самая простая, доходчивая программа — объявить каких-нибудь врагов и призвать к последнему и решительному их изничтожению. Если уровень зрелости народа совместим с подобным решением, то оно и восторжествует: начнутся либо революционные погромы, либо война.

Один из шаблонов господствующего мышления состоит в снятии ответственности с народа за дела его государства. Народ безвиновен и чуть ли не свят по определению — это же простые люди, их жизнь трудна, им не до книжек, разве можно их в чем-то обвинять? Они исполняют приказы, и если последние плохи, то это не вина солдат того или иного фронта. Но тут ведь противоречие: если средний простой человек действительно невинен как малое дитя, то почему же он имеет право голоса при выборе органов власти? Получается неувязка: если человек достаточно зрел, чтобы участвовать в политических выборах, то он несет ответственность за свой выбор; соответственно, он несет вину, если выбор дурен или исполняемый приказ преступен. А если простой народ настолько наивен, что никакой вины на нем быть не может, то и решать, кто будет управлять страной, эти политические инфанты не должны. При нынешнем же раскладе всеобщего избирательного права получается, что все мы — заложники масс простых людей, достаточно наивных, чтобы не нести ответственности, и одновременно как бы достаточно зрелых, чтобы выбирать правителей.

«Кто подскажет нам правду, если даже наш собственный внутренний голос так часто лжет?» — вы спрашиваете, Геннадий Мартович. Разные голоса мы можем слышать, я бы сказал; важно различать их природу и знать иерархию. Тот хозяин пацхи в Пицунде, что из милого ресторатора вдруг превратился в наглого грабителя, тоже, наверное, следовал какому-то внутреннему голосу, побуждавшему к грабежу и оправдывавшему его. А вот другой случай: германский фельдмаршал фон Кюхлер командовал вторжением в Польшу в сентябре 39-го года. Когда в мае 45-го его спросили о зверствах немцев в Польше, он негодуяюще воскликнул: «Извините, это не вермахт, это партия!» И то сказать, разве армия не должна безусловно исполнять приказы политического руководства страны? Или не так, и прав был Карл Густав Юнг, видевший в безусловности этого подчинения бесхарактерность военного командования, «мягкотелостью напоминающего моллюска в раковине»? Шпеер вообще отмечает,

что руководители Рейха, которые оказались на скамье подсудимых в Нюрнберге, все как один высказывали там возмущение преступлениями режима, столь же дружно отрицая свою вину. Он же принял на себя ответственность за все преступления нацизма, оказавшись белой вороной среди коллег. И Шпеер, и его соседи по скамье подсудимых, следовали каким-то внутренним голосам, но не тем же самым.

Среди наших побуждений есть лишь одно, что работает против желания решать свои проблемы за счет других, против того, чтобы сваливать ответственность на других, против побуждений к обману, агрессии и грабежу; эта штука называется совестью. Не думаю, что ее голос когда-нибудь лжет, Геннадий Мартович. И еще я думаю, что лишь редкие уроды генетически лишены этого слуха. Основная проблема здесь не биологического, а ценностного порядка. Почему вообще человек должен следовать совести, а не тому, чему она ставит предел: многочисленным желаниям и обидам? Почему правота за ней, говорящей тихо, а не за ними, страстно вопиющими? Ради любви к людям надо следовать совести? А если этой абстрактной любви человек не испытывает, и даже наоборот, как дважды два докажет, что никакой любви люди вообще не заслуживают, хватит того, что он их вообще хоть как-то терпит? Или ради блага общества надо следовать совести? Да многие научно урезонят, что сильный человек должен, именно ради блага общества, устранить слабого — дарвинизм так и работает, скажут, и это как раз хорошо для вида в целом, когда слабые вымирают, а сильнейшие благоденствуют и размножаются вовсю. Так что если совесть противоречит науке, то тем хуже для совести. Ради справедливости, как многие доказывали, надо как раз грабить — вспомним хоть знаменитые «собственность есть кража» и «грабь награбленное!», или еще более известное «у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает». То, что ради отечества надо жертвовать всем без исключения, в том числе и совестью, — говорится и демонстрируется многими авторитетными людьми.

Мне известен лишь один аргумент, по которому надо следовать совести, несмотря ни на что: ее голос божествен. Конечно, такой аргумент предполагает веру в Бога, не только Создателя, но и Вечного Судью. Без такой веры совесть — непонятно что, и ее тихие требования самоограничения и самопожертвования могут быть приняты лишь благороднейшими натурами, каковых немного.

Божественные голоса вообще негромки; недаром сказано: где тихое веяние, там Господь. Добро, красота и истина — триада божественных атрибутов, которым отвечают совесть, вкус и разум как инстанции человеческие. Каждая из них требует сосредоточения, уединенного взвешивания, незамутненного внутреннего созерцания сути дела; всем им претит шум и напористость, пушки, барабаны и ансамбли песни и пляски. Страстные голоса должны быть услышаны как нечто пусть и важное, но не самое важное.

Пример такого рода — из тех же воспоминаний Шпеера.

Во время Нюрнбергского трибунала обвиняемые ходили на суд как на работу; жили же они в одиночных камерах городской тюрьмы. Когда в самом начале процесса им принесли материалы обвинения, одни и те же для всех, Шпеер не мог уже привычно отводить глаза от преступлений режима; ему пришлось таки посмотреть на них прямо. Он листал страницы, задумывался, и душа его приходила в ужас и смятение от содеянного. Что он будет говорить трибуналу, как оправдываться, как уходить от угрозы смертной казни — мысли его заметались, но через какое-то время пришла ясность: надо просто принять полноту ответственности за все злодеяния и заранее согласиться с приговором, каким бы он ни был. Злодеяния столь велики, что любой приговор министру вооружений будет слишком мягок. И когда он это понял — как гора упала с его плеч, он почувствовал себя легко и спокойно. По его словам, «...в течение десяти месяцев процесса я не отступал от принятого решения и поныне считаю это самым смелым поступком в своей жизни. <...> Получив приговор,

я отказался от права обратиться к четырем государствам-победителям с просьбой о его пересмотре. Любая кара казалась ничтожно малой по сравнению с теми страданиями, которые мы принесли мировому сообществу».

Так, думаю, и восстанавливается истина ценностей: как освобождение от тщеты и суеты, как выход к достоинству с готовностью принять смерть ради правды. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными», — даже перед угрозой виселицы или пожизненного срока. Прозрение такого рода требует, однако же, определенной зрелости личности. Те, кто с головой ушли в исполнение задач партии, фирмы, института или государства, винтики коллектива, такой путь не откроют. Об этом говорил Юнг в интервью, опубликованном 11 мая 1945 года: «В коллективе человек утрачивает корни, и тогда демоны могут завладеть им. Поэтому на практике нацисты занимались только формированием огромных масс и никогда — формированием личности. И также поэтому лица демонизированных людей сегодня безжизненные, застывшие, пустые... Я уже говорил, что спасение заключается только в мирной работе по воспитанию личности. Это не так безнадежно, как может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее современные средства массового внушения — пресса, радио, кино etc. — к их услугам. Тем не менее христианству было по силам отстоять свои позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массовым обращением — это произошло позднее и оказалось не столь существенным, — а через убеждение от человека к человеку. И это путь, которым мы должны пойти, если хотим обуздать демонов».

Царствие Небесное внутри вас, говорил Христос, ищите же Царствие и правду Его, а все остальное приложится. Наверное, мы не ошибемся, если решим, что это Царствие соединяет в себе добро, красоту и истину. Нам же дано стремление к ним и способность наращивать в себе их присутствие. Мы называем эти инстанции, что внутри нас, соответственно совестью, вкусом и разумом. Даны они, по Христову же сравнению, как закваска — и от нас зависит, насколько хорошо она сработает. Вот, кажется, и ответ на ваш, Геннадий Мартович, философский вопрос, кто мы. Прагматичный, универсальный и вместе с тем довольно конкретный ответ, не правда ли?

За сим обнимаю вас, дорогой друг. Храни вас Бог.

Ваш Алексей.

Анатолий Цирульников

Алдан. Несцепленные шестерёнки, или Золото заката

Документальная повесть

Часть шестая

РАССВЕТ ИЛИ ЗАКАТ?

«Алданский рабочий». Редакторский стол

В краеведческом музее сохранилась газета «Алданский рабочий» почти столетней давности. Редкие фотоснимки (верблюды в районном центре), фотографии первых корреспондентов и редакторов. Один из редакторов, Павел Олонхо (такой вот говорящий псевдоним), был талантливым человеком, переводил якутский народный эпос на русский. Первые годы писали в основном рабкоры. Старый маркшейдер с прииска Василий Павлович Наров тоже был корреспондентом газеты. Много писал о спецпереселенцах, которые появились здесь с тридцатых годов. В музее восстановлены их личные вещи, лопата (норма на одного забойщика была 1,25 кубометра земли, потом стала в три раза больше), фотоаппарат на стойках... и фотографии.

Здесь было много лагерей. На карте района 1930—1950-х годов значится двадцать один, но это далеко не все. Ленино, Нижний Куранах, Алдан, поселок Спокойный, Лебединый, Открыт... Что — «открыт»? Прииск. А где прииск, там лагерь.

Леонид Аданаевич Лагков, фронтовик, танкист, писал об истории Алдана. «Некоторые его недолюбливали за то, что он резал правду-матку, — водит меня по музею Дарья Петровна Васильева, — но из его статей много можно узнать по истории Алдана. Вот тут мы пытались воссоздать его рабочее место...»

Редакторский стол. Переходящий кубок газеты, отлитый из гильзы снаряда в 1945 году. Печатная машинка, графин и подстаканник, перьевая ручка, телефон...

Фото горы со странным названием Радио. «Был здесь Папанин и установил радиостановку в Томмоте и у нас на горе, которая так и была названа — «Радио-гора»».

Фотографии, запечатлевшие строительство предприятия Алдана. Лесозаготовительная бригада 1960 года. Лошадь тянет водовозку. Грузовики ЗИС на трассе и первый рейсовый автобус...

¹ Окончание. Начало см.: «ДН», № 9, 2022.

В зале этнографии — эвенкийские колыбели, нарты с местных стоянок, лыжи охотника. В сороковом году охотник Виктор Захаров в медвежьей берлоге нашел первую в Алдане слюду.

Будни золотодобычи. Поселок спецпереселенцев ЯЦИК сидят люди — а над ними лоток, в котором промывают породу...

Мимо прошла драга № 9

Об этом притоке Лены говорят: Золотой Алдан. Я не понимал, думал: в смысле красивый, богатый рыбой. А это про настоящее золото.

В «Алданзолото», куда мы решили съездить, не так просто попасть, служба безопасности и прочее. Едем смотреть карьер и «хвостохранилище» — то, что остается от добычи золота. А где породу берут, там тоже посты, охрана. «Раньше, в начале двухтысячных, — говорит шофер, — мы, пацаны, ходили, лазали — ни постов, ничего не было. Сейчас не пускают».

В тридцати километрах от Алдана — «лунники», так их называют местные жители и добытчики. Гигантские холмы, мертвая вода, выходящая на поверхность.

Драга прошла мимо Куранаха. Третий или четвертый раз идет. Чудовищное ржавое сооружение с лагерьной нумерацией: драга № 7, драга № 9... Напоминает инопланетный пепелаз из легендарного кинофильма «Кин-дза-дза!», только наземно-подземный. Роет более чем на тридцать пять метров в глубину. Бывает, что драга идет впереди фабрики, которая затем перерабатывает породу. Большие предприятия добывают драгоценный металл с помощью экскаваторов и «кучного выхолощивания» — делают кучу, поливают цианидом и извлекают золото... Старатели лотками, как раньше, уже не пользуются.

Сфотографировал шлаконакопитель с котельной. И то, что остается от шагающего экскаватора, выравнивающего площадку. Сфотографировал лунники.

Ради добычи обезображивается все. Уродуется жизнь людей. Под драгу подгоняют рельеф местности. Там, где стояли гаражи, все срыто. Мертвая вода. Грязь.

Грязное это дело — золото.

Снял ржавую драгу № 4, два года стоит. А шестая работает невдалеке — чтобы сфотографировать, надо разрешение начальника службы безопасности.

Говорили о «хвосте». «Хвост», остающийся от добычи золота — все отработанное, ненужное, помойка, в общем. А у шамана — помните? — наоборот: «хвост» — это поводья, которыми правят, двигаясь к солнцу; без «хвоста» — не шаман.

Я думаю о менталитете добытчика (золота и чего угодно). Можно «рыть», добывать, охотиться, бить зверя без разбора. А можно булт: по-якутски — искать. Брать от природы сколько человеку нужно. Разумно, по нужде, а не ради наживы.

Но еще важнее — круги деятельности. Чем больше кругов, тем лучше — но только если шестеренки сцепляются, а не болтаются поодиночке.

Круг оленеводства.

Круг золотодобычи.

Круг образования...

Круг обслуживания трассы (тот, что в поселке Улуу) мы уже видели — туда не надо. И на железную дорогу, где рельсы сходят со своего пути. А другие бы надо исследовать. Круги, если сцепляются, усиливают друг друга, и получается большая машина — редуктор.

Если сцепляются...

Часть седьмая

MENTE ET MALLEO¹*Сибирские флибустьеры*

Мальчишка, замешанный в польских волнениях, каторжник, политссыльный, стал в Сибири выдающимся ученым-геологом. Но и получив мировое признание, прожив пять лет в Петербурге, Ян (Иван) Черский все-таки закончил свою жизнь в последней экспедиции на Колыме, на тихой речке с символичным названием Прорва.

Не похож девятнадцатый век геологии на двадцатый, но истории их переплетаются. В них как-то совмещается созданный советским кинематографом шестидесятых образ бородатого, в свитере, человека с рюкзаком и гитарой, поющего у костра, и предшествующая эпоха геологических открытий, в которой было не так романтично.

Алданский геолог и организатор Быков вспоминал, что в предвоенные годы три раза было репрессировано руководство и ИТР золотодобывающей промышленности. Арестованным геологам приисков и разведучастков предъявлялись обвинения во вредительстве: якобы занижали результаты разведки, чтобы страна планировала меньшую добычу золота.

Интеллектуальный, интеллигентский слой геологов поредел.

А до этого...

Сияющий иней покрыл тайгу,
И в пламени спит тайга...
Собаки бегут под таёжный гул
На дикие берега...
Собаки захлёстываются, храпят,
Постромку вожак грызёт,
И сани поскрипывают, летят
К Алдану вперёд, вперёд!..

Стихотворение «Алдан» Эдуард Багрицкий написал в 1925 году. В строках этих есть что-то джекклондоновское.

Но не Клондайк.

Здесь нет его!..
Когда с погодою худо,
Осенний нудный дождик не затих,
Бывают лихорадки, но с простуды,
И нету лихорадок золотых!.. —

поставил диагноз Алдану в послевоенные годы носильщик, грузчик, пильщик дров, «крестный отец самиздата» Николай Глазков.

А вот евтушенковское:

Долгожданочка-алданочка
смотрит:
гость или жиган!
На плече её —
берданочка,
Где в любом стволе —
Жакан.

¹ «Умом и молотком» — старинный девиз геологов.

В пожелтевших подшивках «Алданского рабочего», который и сейчас выходит, живое дыхание истории: «И кого только не повидал наш Алдан! Люди фарта, сибирские флибустьеры, таежные разбойники. Одни в поте лица, впроголодь месяцами моют несколько фунтов золота, другие подкарауливают, чтобы отобрать. Спекулянты, шарлатаны, обманщики всех мастей...»

Все что угодно было. А вот Клондайка нет!

Хотя мерещится в Алдане, в ключе этом Незаметном, такой огромный запас свободы...

ТУРЭвская закуска

Геологи сделаны из особого теста. Следовали девизу *mente et malleo*.

В молодые времена, в 1970-е, жили весело.

...Металл. Горючку, соль и спички
Возили к черту на кулички,
Носили лозунги, портреты,
Блюли ТБ и совсекреты.
...Друзья!
Пусть всё, что стало былью,
Не будет лишь музейной пылью.

Завлабы, начальники партий, лауреаты государственных премий... В геологическом музее в Алдане на стене висят портреты дореволюционных основоположников и заслуженных советских геологов. Интеллектуальный, интеллигентский слой сохранился в воспоминаниях.

При решении какого-то вопроса знаменитый организатор алданской геологии Иннокентий Вячеславович Быков спрашивал: «А как к этому относится геологическая элита?»

О школе Быкова в Якутии ходили легенды. «Пройти ее курс и выдержать удавалось далеко не каждому, — признавался один из его учеников, Заслуженный геолог Якутии Лев Кичигин. — Но тот, кто проходил быковские университеты от азов до вершин, оставался им верен на всю жизнь. Суть их очень проста и заключается в нескольких понятиях: творческий поиск, трудолюбие и честность».

А сам учитель не имел высшего образования, за его плечами был читинский горный техникум и работа в геологоразведке. Тогда все больше учились у жизни.

Другой алданский самородок, первооткрыватель двух месторождений, лауреат Государственной премии СССР Борис Бошков тоже проходил эту школу: «Огромный рюкзак с пробами пород за спиной, молоток. Ежедневные двадцатикилометровые маршруты. Научился спать под открытым небом, что, оказывается, очень просто: разводишь большой костер, а когда он прогорит, убираешь угли и стелешь на их место еловый или кедровый лапник, что ближе под рукой. Сверху ложишься сам. Рядом собака и обязательно карабин. До утра земля держит тепло...»

В далекие 1950-е годы у Бошкова было прозвище «кочегар» — за умение поддерживать энергию не только в себе, но и в окружающих.

Во всех почти поселках — Якокуте, ЯЦИК, Нижнем Куранахе... — были ссыльные. «И все же, мне кажется, — вспоминал геолог, — в Алдане было немного легче, чем в угнетающей военно-административной системе “Дальстроя”, дух которого ощущался на Севере еще в 80-х годах».

Ганна Шевченко

С ВИДОМ НА СТРАСТНОЙ

Из цикла «Читальный зал»

Моя любовь к библиотеке имени Чехова началась еще в нулевые, когда я только приехала в Москву и стала знакомиться с культурной жизнью столицы. «Классики XXI века» — первый литературный салон, куда я пришла на поэтический вечер. Это было еще до ремонта, когда стены были оклеены узорчатыми обоями песочного цвета, повсюду висели светильники, похожие на подсвечники, и зал заполняли кресла, покрытые темно-изумрудной обивкой. Литературная жизнь тех времен заметно отличалась от нынешней. Градус интереса к поэзии достигал высшей точки, каждый четверг салон был переполнен любителями и профессионалами, на сцене читали известные мастера современной литературы, а после выступлений культурные герои могли до утра засидеться в буфете библиотеки. Имена называть не буду. На этих людей и сейчас можно посмотреть на фотовыставке «Современная литература в лицах», размещенной в читальном зале на первом этаже.

Тогда же я познакомилась с издателем и хозяйкой литературного салона Еленой Пахомовой. У нас сложились теплые отношения. Именно Елена издала мою первую книгу стихов «Домохозяйкин блюз», которая вошла в десятку лучших книг 2012 года по версии «Московского счёта». Презентация этой книги, первая в моей жизни, тоже проходила в салоне «Классики XXI века» Чеховской библиотеки.

Далее — еще одно счастливое обстоятельство. Три года назад я ушла из «Эксмо» и бродила по Москве в поисках работы. Зашла в свою любимую Чеховку. Хозяйка салона Елена к тому времени превратилась в директора библиотеки Елену Алексеевну. Она радушно встретила меня, сказала, что в библиотеке освободилась вакансия администратора. Разве могла я упустить такую возможность? И вот я здесь.

Первое время я часто задумывалась, почему мне так комфортно среди книг? Потом до меня дошло. Первые пять лет своей жизни я провела в доме своего деда Шевченко Ивана Фёдоровича. Он работал директором школы и фанатично любил книги. Все комнаты от пола и до потолка были заняты книжными полками. В дедушкином доме я была абсолютно счастлива. Возможно, по этой причине моя бессознательная природа чувствует себя спокойной и защищенной именно среди обилия книг.

А как удобно находиться в эпицентре культурной жизни! Захотел почитать Аристотеля или, положим, Дарью Донцову, протянул руку, и книга у тебя в кармане. Захотел посетить литературный вечер — зашел в четверг в концертный зал культурного центра и наслаждаешься поэзией. Решил посетить фотовыставку — вот она, тут же на стенах салона. Кинопоказ — пожалуйста, театральная студия — вот она, школа испанского языка — на блюдечке с голубой каемочкой.

Но главное — люди. Вот здесь мне, как человеку пишущему, особенно повезло.

Ежедневно по несколько часов в день я дежурю на кафедре в компьютерном зале, где читатели имеют возможность бесплатного доступа в интернет. Когда я оформлялась,

будущие коллеги предупреждали: «Держись, у нас очень сложная публика». И действительно. Публика оказалась сложной и очень интересной. К нам приходил «тамплиер», который исполнял послушание, раздавая бесплатный хлеб завсегдатаям компьютерного зала. Приходил африканец и по сто раз на дню заказывал несуществующие книги, испытывая таким образом терпение библиотекарей ради какого-то неведомого психологического эксперимента. Приходила миниатюрная бабушка в ярко-лимонной одежде, заказывала учебные ноты, но, не дождавись нот, набирала полные карманы сахара в кафе библиотеки и бежала на выход. Приходил молодой рэпер и просил посадить его «за самый грустный и одинокий компьютер». Приходил «народный депутат» и грозился всех уволить, потому что его без читательского билета отказывались пускать в интернет. Приходят непризнанные гении, агенты ЦРУ, генералы «в отставке» и контактёры с параллельными мирами. Люди, читая мои заметки в соцсетях, спрашивают, как ты все это выдерживаешь? Секрет прост. Я включаю воображение, представляю себя и проблемного читателя героями маленького скетча и переношу все это на бумагу. Тогда мне перестаёт быть грустно и становится смешно. Ни одна из миниатюр не выдумана — жизнь намного изобретательнее человеческого воображения.

Г.Ш.

* * *

По инструкции, допуская читателя к работе в интернете, администратор должен присматривать, не заходит ли тот на порно-сайты, не читает ли запрещённую литературу. На моем мониторе светится шесть окошек, по числу компьютеров в зале, и время от времени я сколжу взглядом по экрану.

Иванов (назову его так) ежедневно по несколько часов рассматривает блестящие формы автомобилей F-класса, даже на руль от которых, судя по виду, ему пришлось бы копить полжизни. Аккуратный Петров, похожий на всех вместе взятых консультантов по продаже бытовой техники, регулярно прочитывает статьи на тему «Пособие начинающего диктатора, или 12 способов получения власти над миром». Шуплый алкоголик Сидоров, типичный вокзальный попрошайка, часами любуется на мощные масляные тела женщин-бодибилдеров. Сутулый интеллигент Николаев на эзотерических сайтах читает рецепты приворотного зелья. Каждый день приходит женщина лет семидесяти, включает проповеди Ошо и, скрестив пальцы, качается на стуле, как две вилки в фокусе с равновесием.

Сегодня пришла делегация с сумкой на колесах — взрослая дочь и пожилые родители. Попросили снять ксерокопии с четырех листов А4, исписанных мелким, неразборчивым почерком. Сняла. Оказалось — письмо Путину. Они положили размноженные послания в сумку и покатали по Большой Дмитровке в сторону Кремля.

* * *

- Здравствуйте! Хочу зарегистрироваться в вашей библиотеке.
- Давайте паспорт.
- А вы фоточку сделаете?
- Сделаем.
- Достает из сумочки расческу и зеркальце. Причесывается.
- У вас красненькая карточка?
- Синенькая.
- А фоточка будет на карточке?
- Нет. Фото для внутреннего пользования, на случай, если придете без билета и без паспорта. Готовы?
- Ой, подождите! Еще на себя посмотрю!
- Смотрит в зеркальце, становится перед камерой. Делаем снимок:
- Можно посмотреть?

- Смотрите.
- Мне не нравится... Давайте переделаем.
- Девушка, это фото для внутреннего пользования.
- Ну пожалуйста...
- Причесывается. Делаем еще один снимок. Заглядывает в экран.
- Ой, фу... Ну еще разочек, я вас очень прошу...
- Фотографирую еще раз. Смотрит:
- Не очень... Ну ладно... Пусть будет...
- Книги брать будете?
- Нет, спасибо, я просто зарегистрироваться пришла.

* * *

Глаза у него страшные, инопланетные. Чертыхается булькающим басом, пытаюсь войти в свой почтовый ящик — плохое зрение. Помогаю набрать логин. Ворчит под нос, с оглядкой на меня:

— Напортачили, собаки, напечатали подряд одно и то же стихотворение. Издатели сраные! Пришлось ехать в Москву из Липецкой области.

Он сморщенный, как резиновая кукла, из которой выпустили воздух. Одежда пахнет чем-то залежалым и металлическим, словно он хранит ее в сарае для инвентаря.

- Стихи пишете? — спрашиваю.
- Да, книга вот вышла, только бракованная, напортачили, гады.
- За свой счет издаете?
- За свой, конечно, как же еще...

Возвращаюсь на рабочее место, смотрю в документах имя, нахожу его страницу на сайте Стихи.ру. Поэзия горькая. Пишет о том, что жизнь не сложилась, денег не заработал, из деревни так и не выбрался, карьеру не сделал, любовь прошла стороной, детей не нажил, но предполагает, что Господь послал его в этот мир с особой миссией — миссией Поэта.

Отправив нужное письмо, идет в кафе, заказывает чай и долго сидит за столиком, глядя в окно на Страстной бульвар.

* * *

- Здравствуйте! Срочно удалите мою учетную запись!
- Что-то не так?
- Да! Как только я записалась в библиотеку, у меня начались беды!
- Вы уверены, что тут есть взаимосвязь?
- Уверена.
- Хорошо. Напишу завтра в службу поддержки, вас удалят.
- Во сколько примерно?
- Думаю, после двенадцати.
- То есть после обеда все закончится?
- Очень на это надеюсь.
- Спасибо!
- Пожалуйста.

* * *

В читальный зал входит человек. По виду — молодой пенсионер, когда заслуженный отдых начался, а болезни и немощи еще не пришли. Выправка, стать, усы — похоже, бывший военный.

— Здравствуйте, я поэт! У меня недавно вышла первая книга стихов, я хотел бы у вас выступить.

Он кладет книгу на стол. Книга красивая, в стиле дореволюционных фолиантов, с золотистыми виньетками на обложке и гусиными перьями под каждым стихотворением.

— Наш салон называется «Классики XXI века», здесь выступают люди, утвердившиеся в литературе. Есть у вас публикации?

— Как вы вкусно сказали: *классики двадцать первого века!* Так и хочется откусить от этого пирожка! А вы тематические вечера не проводите? У меня есть стихи о Родине, о труде, о войне, вдруг вам нечем программу заполнять...

— Наша программа прописана на год вперед. Запишитесь лучше в библиотеку. Берет образец для заполнения и договор. Вскоре возвращается:

— А можно, в графе профессия напишу «поэт»?

— Не стоит, «поэт» — это диагноз.

— Как вы правы, как вы правы, — отвечает поэт и подписывает договор.

* * *

Посетительница внимательно изучает объявление о переходе на единый читательский билет:

— Нужно убрать запятую! Нужно срочно убрать запятую, «в связи с этим» не обособливается! Вот! — переводит взгляд с объявления на фотовыставку «Лица современной литературы», — что будет, если Дмитрий Петрович увидит?

— Какой Дмитрий Петрович? — спрашиваю.

Она движется в сторону фотовыставки с рукой, нацеленной, как ружье, к верхней фотографии:

— Бак! Дмитрий Петрович Бак! Он же филолог! Что будет, если он придет и прочитает это объявление с лишней запятой?!

— Действительно, — отвечаю я и замазываю белым корректором лишнюю запятую.

* * *

Подходит к прилавку, занимает очередь, поправляет короткую стрижку кислотного цвета. Достает из маленькой сумочки помаду и зеркальце, красит раздутые инъекциями губы.

Оглядывается, рассматривает посетителей, заказывает кофе, идет к своему столику по прямой линии от бедра. Снова достает зеркальце и красит губы. Закинув ногу на ногу, покачивает стильным ботинком в оранжевый горошек. Слышит свое имя, идет за кофе, возвращается. Пьет, шеголяя изысканными манерами. Закончив, достает помаду и зеркальце, красит губы. Кокетливо смотрит по сторонам, подмигивает посетителям. Улыбается тем, кто реагирует.

Оно, конечно, пускай бы, мы на кафедре и не такое видели, но почему этот парень промышляет с утра и почему в буфете библиотеки?

* * *

— Есть у вас переписка Чехова с женой? — спрашивает молоденькая девушка.

Иду в фонд, выношу книгу «Письма Чехова к женщинам».

— Здесь не только с женой, но и с другими барышнями.

— Как?! — удивляется девушка. — Разве у него были женщины кроме жены?

— Были, — отвечаю, — и очень много...

— Как же так, я его совсем другим представляла...

* * *

Пятнадцать минут до закрытия. Слышу скрип двери в открытом фонде. Заглядываю — между стеллажами ходит темная фигура.

Спрашиваю:

— Кто здесь?

Навстречу высказывает читатель с круглыми от ужаса глазами:

— Помогите найти определение человека!

* * *

Модница записывается в библиотеку: ресницы — натуральный шелк, брови — скаус, губы — филлер.

— Знаете, зачем мне билет?

— Зачем?

— Ответственное потребление! Книгу взял — книгу сдал! И ничего покупать не нужно. Лишние ресурсы не расходуются.

— Разумно.

— А есть у вас книги по осознанной осведомленности?

— В открытом фонде на третьей полке.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

* * *

— Анна, вы исполнили мое поручение?

— Какое?

— Прочитали Исигуро?

— Полистала.

— Что скажете? А?! Мощь! А «Пролетая над гнездом кукушки» Сэлинджера читали?

— Это Кизи написал.

— Кто?!!!

— Кен Кизи.

— Не может быть! У меня реактивная память! Вы еще подумать не успели — я сообразил! Спорим на шоколадку, что Сэлинджер?

— Спорим. Открывайте интернет.

— Не доверяю я интернету! Там одни фейки. А Кнута Гамсуна читали? Вот это мощь! Я тоже скоро напишу роман! Что-то среднее между Достоевским и Толстым! С философской глубиной! А не то что эти ваши современные пишут. Все! Пошел работать! Только воды куплю в кафе.

Через минуту из кафе:

— Вы читали Хемингуэя «Великий Гэтсби»? А! Вот это мощь! Не то что эти современные.

* * *

Он и она, студенты, в открытом фонде:

— О! Кафка! Ты читал Кафку?

— Я тебе не говорил... У меня детская травма... В пятом классе родители жестко заставляли меня читать Кафку...

* * *

Сию работаю. К кафедре, как ветерок, подлетает девушка лет сорока — русалочьи волосы, припорошенные блестками, сказочные ресницы, роскошные шаровары, разукрашенные под звездное небо.

— Мне нужно забрать инсталляцию, — говорит она.

Оказалось, на днях художники разбирали выставку, и девушка забыла в углу какую-то рамку. Пошли искать. Нашли. Она стала звонить мужу, чтобы зашел и забрал.

— Да, зайка, — отвечает мужской голос в трубке.

Тренирую проникательность, попыталась вообразить, как выглядит муж этой художницы. Сначала представился перформер в длинном балахоне и с металлической антенной на голове. Потом поэт с серебряными локонами до плеч. Потом богатенький старец с причудами. Но реальность превзошла мои ожидания.

В зал вошел самый обычный мужчина лет сорока, бритый налысо, с добрыми глазами, в «дутой» безрукавке спортивного стиля. Такие летом по пятницам у нас за домом у реки жарят шашлыки и пьют пиво.

Когда ушли, я заметила на полу небольшую бумажку. Они потеряли карточку от инсталляции. Называлась она «Центр Вселенной», а имя художницы было так прекрасно, что тут же захотелось внести его в топ самых красивых и редких женских имен на планете.

* * *

В библиотеку записывается молодой колумбиец по имени Иван. Красоты неопишуемой. Студент. Учится в РУДН.

— У вас есть труды Кропоткина?

— Есть.

— Вау! Не может быть! А Бакунин?

— И Бакунин есть.

— Какое счастье!

— Анархизмом интересуетесь?

— Вся Латинская Америка интересуется! У нас Бакунин — как Библия! Девятнадцатого июня президент от левых сил к власти пришел — бывший повстанец. Ждем изменений к лучшему. У нас многие от денег отказываются, коммуналы живут. Власть не хотят признавать. Кропоткин, Бакунин, какое счастье! Неужели у вашей молодежи нет интереса?

— Наши все еще либерализмом интересуются, вчера молодой человек вашего возраста Фукуяму взял...

— Либерализм, Фукуяма — плохо. Анархизм, Кропоткин, Бакунин — хорошо.

Кладет книги в рюкзак, идет на выход.

* * *

В компьютерный зал пришла юная фея с розовой прядью, пирсингом в носу и татуировкой бабочки на шее. Села за компьютер. Работала более двух часов, а когда пришло время уступить место другим читателям, устроила скандал — так ей не хотелось расставаться с интернетом. Обозвала одного читателя отбросом, другого — амебой, третьего послала матом. Когда мы всем коллективом ее успокоили, она сообщила, что отправила нам на почту несколько файлов для распечатки. Оказалось — верлибры о фее с розовой прядью, пирсингом в носу и татуировкой бабочки на шее. Мир — ад. Всюду несвобода, сексизм, дискриминация и харассмент. Современная поэзия, можно на «Лицей» подавать.

* * *

— Почему книг так мало на буккросинге? Разобрали, говорите? А что ж взамен ничего не поставили? Зато «Люди с чистой совестью» Вершигоры третий день стоят. И не только у вас! Я по всем библиотекам прошелся, везде на полках Вершигора со своей чистой совестью. Сегодня в библиотеке на ВДНХ два мужика за коллекционное издание «Модерн в мировой графике» подрались. Как вцепились вдвоем в одну книгу! По полу катались. Охранника пришлось звать. О! «Московское долголетие»! Возьму пару газет. Мне как исполнилось шестьдесят, они меня задолбали, звонят и звонят, звонят и звонят. На какие-то мероприятия все приглашали. Ну, я и пошел один раз. А они там танцы разучивают. На сто бабушек четыре дедушки. Поэтому и звонили так настойчиво, им кавалеров не хватало. Я развернулся и ушел, почему я должен с этими бабками танцевать? Нашли дурака. Вот с вами бы я потанцевал...

* * *

— О! Библиотека! — восклицает девушка и селфится на фоне читального зала.

— О! Книги! — Девушка селфится на фоне шкафа с энциклопедиями.

- О! Чехов! — Селфится на фоне бюста.
- Осмотревшись, уходит в кафе, и через минуту оттуда доносится:
- О! Столик!
- О! Диванчик!
- О! Кофе!

* * *

Часто в кафе приходят три подруги (или сестры? слишком уж похожи) и, достав из сумок разноцветные клубки, вяжут длинные шарфы. Вот, уже разложились, скоро начнут.

* * *

- Здравствуйте, можно поработать за компьютером?
 - Можно.
 - А сколько это стоит?
 - Нисколько.
 - Вообще нисколько?
 - Вообще.
 - Странно.
 - Что тут странного?
 - Как-то мне все это не нравится.
 - Что именно?
 - Что можно работать бесплатно. Может, все-таки возьмете плату?
 - Не возьму. Что вас смущает?
 - Все. Я так не привыкла.
 - Придется привыкать.
 - Не буду. Как-то мне все это не нравится.
- Уходит.

* * *

- Женщина лет шестидесяти:
- Пожалуйста, посоветуйте, какую книгу мне взять почитать.
 - А что вы читаете? Какие жанры?
 - Да никакие. Я уже сто лет ничего не читала, вот, решила почитать.
 - Ну, а раньше что читали, сто лет назад?
 - Да не помню я! Посоветуйте мне что-нибудь современное.
 - Про любовь?
 - Нет! Я такой бред не читаю...
 - Детектив, фантастика...
 - Девушка, просто дайте мне хорошую историю! Из тех, что читателям нравятся.
 - Возьмите эту.
 - Нет! Она большая! Мне тяжело нести!
 - Или эту.
 - Ой, бумага слишком белая, мне нравится, когда желтоватая.
 - Тогда эту.
 - Шрифт маленький...
 - Эту.
 - Обложка какая-то мрачная...
 - Ну, тогда вот эту.
 - Да! Да! Да! Именно такую я и хотела!
- Взяла книгу и пошла на выход.

* * *

За столиком сидят трое важных мужчин, пьют кофе, едят печенки и говорят о слиянии корпораций. Библиотека — место силы.

* * *

В читальный зал стремительно входит читатель:

— Все пропало! Страна на грани распада! Спецслужбы не работают! Тыва выходит из состава России!

— Да ладно, выходит! — подключается другой. — Двадцать пятого сентября Организацией Объединённых Наций будет восстановлен Советский Союз!

— Какой Союз, в августе Путина убьют! — говорит третий.

— Какого именно? — спрашивает четвертый. — Их четыре, настоящего убили еще в 2006-м.

* * *

Я иду в фонд — она за мной, в культурный центр — она следом, в читальный зал — она тут как тут. И все говорит, говорит, говорит, тихо-тихо, почти шепотом:

— Есть ли у вас в библиотеке учебники по балетному искусству? Я живу в Туле. В меня никто не верит, даже моя мать, даже мой отец, я всю свою жизнь мечтала стать балериной и вот приехала поступать в Большой театр.

Ей около тридцати, лицо хорошенькое, как у Снегурочки. Стройная, но лишена изящества и грации. Какая из нее балерина?

— Вы давно занимаетесь балетом?

Отвечает тихо-тихо, почти шепотом:

— Никогда не занималась, мне никто не позволял, но я всю жизнь, с самого детства, танцевала в своей голове и еще раз на концерте Газманова. Но я балерина, только я уже боюсь говорить об этом матери — она снова отправит меня в психушку.

Так и есть. Так я и думала. К нам в библиотеку часто приходят сумасшедшие. Шизофреники и параноики. Тихие и буйные. Эта тихая. Говорит шепотом и ходит за мной по пятам, как несчастный котенок.

— Смотрите, — она достает из сумки календарь с танцующей балериной, — когда-нибудь и я так буду.

Иногда мне кажется, что планета Земля — это специальная коробка для хранения бракованных изделий. У одних повреждено тело, у других душа, у третьих, как у этой дурочки, голова. Существуют ли люди, сделанные по ГОСТу?

— Спасибо, что вы меня выслушали, — говорит она, берет две дорожные сумки, идет на выход, — сейчас пойду в театр и скажу, что приехала к ним работать.

Я провожаю ее до двери и желаю удачи, хотя так же, как ее мать и ее отец, в это не верю. Зато я могу сесть за кафедру и создать внутри головы свою маленькую Вселенную — огромный зал Большого театра, сцену, залитую светом, восхищенную публику и эту Снегурочку, летящую над сценой. Изысканную и легкую, гибкую и здоровую.

Лети, дурочка, лети, это единственное, что я могу для тебя сделать.

Ольга Балла

Свет испускают личинки пещерных комаров

Демонстрируя поначалу, кажется, все мыслимые черты тщательно-реалистического романа (а также — романа детективного, то есть — жёстко-жанрового), «Радин» категорически таким не является (в каком-то смысле можно сказать, что он устроен как большая обманка). Но догадается об этом читатель очень не сразу.

Ну, в самом деле, разве не детективное развитие событий обещает нам — правда, с (неслучайным) отступом на пару-тройку страниц от начала — сцена, в которой как будто завязывается всё предстоящее действие? В купе ночного поезда герой, русский экспат (любимый тип Элтанг) Радин, живущий в Португалии, а до того, по ряду примет, в Литве (опять-таки любимые страны автора, основные её смылособирающие и смыслоносные локусы, к рассматриванию которых она возвращается постоянно), говорит с таинственным попутчиком, которого ему в темноте и не разглядеть как следует:

«— Меня зовут Салданыя. Я хочу нанять вас для одного несложного дела в городе, — терпеливо повторил попутчик. — Вам нужно будет зайти в картинную галерею, сказать, что вы частный детектив, специалист по розыску людей, и что теперь вы ищете русского парня, пропавшего в прошлом году. Он был приятелем австрийца, который там работает, они вместе играли на бегах. Некоторые следы, скажете вы, ведут в галерею, социальные сети, звонки и прочее. Они ответят, что ничего не знают, и вы пойдёте к себе в отель. Это всё.

— А зачем вам это?

— Не стоит вникать, просто заучите слова».

Необходимые атрибуты детектива (важные, да не все) автор нам обеспечит: и (попытки)

расследования, и даже убийство, и не одно (кстати, тоже далеко не сразу). Какое-то время, пущенный по ложному следу, прилежный читатель проведёт в напряжении, соответствующем детективному разысканию (каждому типу чтения сопутствует ведь собственное напряжение, с собственной внутренней организацией) — с пристальным вниманием к деталям: какие из них указывают на истину? Какое из искусно инкрустированных ружей, густо развешанных по этим обитым прихотливо-узорчатой тканью стенам в конце концов выстрелит? И... будет обманут. И ещё не раз.

Впрочем, это, пожалуй, тот самый случай, когда читатель обманываться рад и пойдёт за повествованием по всем его расходящимся и сплетающимся тропкам сразу.

Роман же, в свою очередь, нарочито замедляет движение. Отважиться ль на спойлер? — Оно тут вообще не главное.

«Он предпочёл бы остановиться в знакомом отеле под названием “Тилак”, где хозяином был непалец, служивший когда-то в стрелковом батальоне, маленький и суровый гурк. Над стойкой портье висел на расшитом коврике кинжал, отливающий голубоватым светом, и Радин выслушал немало историй о том, как хозяин применял его в открытом бою.

Он жил в этом отеле в прошлом году, когда приезжал в Порту по делам лиссабонской фирмы, и до сих пор помнил миндальный привкус чая, которым хозяин угощал его на террасе, выходящей на церковь Св. Ильдефонсо...»

Так начинается роман, с самого начала заявляющий: торопиться он никуда не намерен и всмотрись-ка ты, читатель, поосновательнее в ткань того, что тебе предьявляется как реальность.

Что же касается ружей, не откажем себе в удовольствии и ещё одного спойлера: из того,

что способно таковыми показаться, не выстрелит ничто вообще. Выстрелят совсем другие предметы, от которых этого не ждёшь никоим образом. Которые и вообще-то не стреляют.

Роман неспешный, нетипично (или уже нет? или уже снова да?) для наших стремительных дней подробный, со смакованием деталей и ситуаций, «отменно длинный, длинный, длинный». Поначалу кажется (и долго, долго ещё будет казаться), что интригу и сюжет Элтанг выдумала едва ли не одного того только ради, чтобы рассказать в связи с этим громадные массивы португальской и околпортугальской самоценной жизни (пожалуй, и не без того!). Эта попутная сюжету, облипающая его со всех сторон, избыточная, как сама реальность, жизнь прописана с завораживающей подробностью, её буквально живёшь физически. Слышишь звуки, осязаешь поверхности, видишь оттенки света и теней, чувствуешь запахи.

Потом думаешь: здесь есть внимательнейшая этнография, несомненно есть психология (и тончайшая), — но чего парадоксальным образом нет совсем, так это Большой Истории. Не видно и неизменных, казалось бы, спутников её: политики, национального государства (в принципе, вся эта история могла бы происходить где угодно); самой, как ни удивительно, национальности как таковой, от которой здесь остаётся почти один только быт (зато подробнейший) да характерные словечки как часть его. О португальской национальной психологии тут, правда, собрано много любопытных наблюдений (одна из героинь — Лиза — рассуждает: «Если кому-то начинать расталкивать нынешний бардак локтями, так это португальцам, у них всё для этого есть — и бедность, и безумие, и лузитанский пообтрепавшийся гонор»). А вот русскость Радина и ещё некоторых участников всего этого действия, кажется, не задаёт им особенных психологических, поведенческих и т.п. матриц. В случае Радина она нужна, похоже, лишь затем, чтобы автор мог обеспечить герою некоторую (неполную; минимальную) вменяемость, непринадлежность к среде, в которой он действует. (Кстати, герою более второстепенному, Ивану, русского достаётся куда больше — в основном в смысле речевого колорита, настолько, впрочем, жгучего, что от обычных-то русских такого не услышишь... Стоп. Об этом позже.) Возможно, Радин с его инопроисхождением, с не-вполне-принадлежностью нужен тут и для того, чтобы

острее видеть — и нам показать — португальские особенности, обычаи, нравы. (Например: «В этой стране кофе угощают не спрашивая, даже если гость явился за полночь». Вряд ли природный португалец, для которого такое очевидно, стал бы нам это растолковывать.)

Во всяком случае, замешав густую среду, История исчезла.

Происходящее из неё как бы вынуто. Она упоминается крайне скупо, по касательной. В облике политики (довольно смазанном) она появляется только на 111-й странице. Радин говорит: «Последняя страна, где я жил, была маленькой и зелёной, мне нравился её язык, я говорил на нём с удовольствием, безбожно путая падежи. Зимой я топил печь и работал у окна, а под окном, будто виноградная гроздь в снегу, краснела часовня святой Терезы. Потом вмешалась политика, из полезного гостя я превратился в бедного родственника, мои дружбы стали истончаться, а писательские дела зачерствели. Я стал заложником своего имени, я был перед всеми виноват, мой русский акцент внушал тревогу, а равнодушие к политике раздражало. Тогда я уехал в страну, где моё происхождение всем безразлично».

Что за политика, что это за обстоятельства, какой вообще год на дворе? — неясно (ну, достроить сказанное — и даже выстроить целый исторический фон, потому что сказано на самом деле очень много — и догадаться на самом деле нетрудно; приметы вообще хоть и скупо, да разбросаны по тексту, иногда прямо с датами: это совсем-наши времена, к концу романа выяснится, что — весна 2019-го), а главное — совершенно неважно.

Будем совсем справедливы: ближе к середине романа История сюда всё-таки заглядывает — сначала местная, португальская, в виде празднования 25 апреля — памяти о 25 апреля 1974 года, но что именно вспоминается и празднуется — проговаривается тоже довольно-таки скороговоркой, знающие знают (это годовщина «революции гвоздик», военного переворота, положившего конец диктаторскому режиму). Заглянет позже и русская — столетней давности: один из повествователей, Иван, упомянет, что его прадед сидел в 1920-е годы в лагере для русских беженцев в Норвегии. Но это опять же совершенно неважно.

(К слову же сказать: а вот Большая Культура — европейская как минимум — в отличие от Большой Истории входит сюда постоянно, она здесь повсюду — но не как предмет сколько-нибудь специального

внимания, а, скорее, как воздух, составляя внутренний объём взглядов персонажей, — кроме разве служанки Малу, полной зато тщательно стилизованным фольклором, низовым пластом той же Культуры. Вот Иван говорит о Лизе: «...Её взгляд следует за мной повсюду, как глаза на портрете старика в замке Гринсхольм»; он же опознаёт в пересказанных служанкой словах Доменики цитату из Марка Аврелия. Вообще текст полон тонких отсылок, включая, по всей вероятности, и такие, которых ваш покорный рецензент не считает.

Неужто — в мире Элтанг — Культура (нарочно пишу с большой буквы, имея её в виду как область существования) реальнее Истории?)

Сквозных тем здесь множество; и одной из главных — она же и сквозная тема Элтанг вообще — можно смело назвать тему непринадлежности, бесприютности, бездомья. (Отвергать догадку не будем, положим её пока на внутреннюю полку.) А всё остальное, весь этот великолепный этнографический избыток — не затем ли, чтобы ведущей теме было через что выговариваться? Собственно, «в шкуре детектива» (к тому же ещё ему и навязанной и ни к какому рационально выстроенному расследованию не приводящей) главный герой тоже чужак, он в ней временно, поневоле и не чаёт из неё выбраться: это уже двойная непринадлежность; наверняка найдутся и другие её формы (скажем: ни в одни человеческие отношения он тоже глубоко не входит).

Не затем ли здесь все эти осязаемые подробности, чтобы с их помощью мы с автором добивались до универсального человека, до человека-вообще, парадоксальность которого в том, что в чистом виде он не существует и увидеть его, следственно, нет никакой возможности. То есть (поверх всяческих сюжетных барьеров) в романе происходит работа по универсализации человека. Не теряя внимания к нему, к самым мелким, случайным, прихотливо-необязательным его подробностям и особенностям, к самой его личности, автор смотрит сквозь эту личность — на что-то ещё.

«Я ведь — что? Игра света, проекция стены лиссабонского монастыря».

Показано заодно и то, как человека втягивает в изначально чуждые, внешние, не нужные ему обстоятельства, и он вращается в них, — а те в ответ перерабатывают его. Уж не ухватывает ли тут автор механизмы выработки судьбы из сора случайности?

Вообще с рассмотрением человека здесь делается что-то интересное, умышленное, о смыслах чего не всегда удаётся догадаться. Например: все персонажи романа говорят от первого лица — повествование движется таким образом, что переключается от говорящего к говорящему, меняя ракурсы. Получается множественность взглядов — не то чтобы на одно и то же, но на один и тот же кусок жизни. Взгляды, естественно, все субъективны, все не совпадают, каждый повествователь пребывает в плену своих иллюзий, картинка принципиально двоится-троится-четверится... О некоторых монологах мы совсем уж будем готовы думать, что они звучат из загробного мира, но всё опять окажется куда сложнее.) И об одном только Радине говорится в третьем лице (при этом, правда, фрагменты собственных его монологов вращены в повествование без зазоров — без кавычек, моментальным переходом: «Какое-то предчувствие подуло ему в затылок, будто ветер из приоткрытого окна поезда. Я ошибаюсь...»). Голосом самой объективности? (Он же — единственный, главы о котором расписаны по дням недели.)

Да, вот о голосах. Чуть выше мы уже заметили, что люди у Элтанг говорят (а говорят они тут, от их первого лица, по всей видимости, *внутренними* своими, ни к кому не обращёнными голосами) гораздо цветастее, чем, скажем так, наяву. Элтанг наделяет персонажей собственной поэтичной, яркой и неожиданной, точной и небывалой речью, которой они похожи скорее друг на друга (и на своего автора), чем на самих себя. Вот, например, как изъясняется Иван, русский экспат лет двадцати с лишним: «С того дня всё пошло не так, будто кто-то взял у меня рубашку и закопал под кладбищенскими воротами. <...> Помню, какое слово крутилось у меня в голове: *пчелух*, так моя нянька называла медведя, разорившего пчелиный улей, сказку я не помню, только присказку. Летела птаха мимо Божьяго страха: ах, моё дело на огне сгорело!»

Это уже гиперэтнографичность — и часто ли вы слышали, чтобы его соплеменники-ровесники выражались таким образом? (Впрочем, возрастной специфики у элтанговских персонажей вообще нет — или почти. Молодой Иван говорит со степенью сложности очень искушённого человека.)

Должно ли это насторожить читателя? Не сновидческая ли перед нами реальность? Не сняты ли они все (кому?), кроме расписанного по дням недели Радина?

В мире этого текста вообще никогда твёрдо не знаешь, где правда, всё так и задумано: автор умудряется подбрасывать читателю множество подсказок — и чуть ли не тем же самым движением сбивать его с толку. Псевдодетективность — часть этой сложновыстроенной ловушки: в отличие от классики жанра, выяснение истины тут, если вообще происходит, то (1) скорее случайно, исподволь, ни в малейшей степени не будучи результатом сознательных систематических усилий, (2) человеком, совершенно к тому не расположенным и не подготовленным, потому и — см. пункт 1. (Интересно, что бедного Радина пытаются нанять как детектива для разных своих надобностей — что характерно, почти всегда успешно! — чуть ли не вообще все, вплоть до служанки.) А уж о торжестве истины, разума и справедливости (для чего всякий детектив обыкновенно и задумывается) над заблуждениями и ложью и речи нет. (Рациональные реконструкции здесь случаются, но редкими приступами и общей картины не делают.) Главный герой вообще того только и ищет, чтобы от выяснения этой самой истины уклониться. Преступление и — скажем, некоторые усилия вокруг его разгадывания — здесь явление эстетическое, а не этическое. И уж не метафизическое ли?

«Добро» и «зло» здесь и не противостоят друг другу, и не слишком даже различаются, — а, куда скорее, образуют сложный, интересный и эстетически волнующий узор. Или скорее «добра» и «зла» в действующей здесь модели мира нет, есть Истина и Ложь/Заблуждение/Иллюзия — но не противостоят друг другу и они — не соперничают, не противоборствуют, а сплетаются опять же в таинственный узор.

А вот мысль, на которую наводит щедрый, сочный, многоуровневый язык повествования, — мысль, согласно которой перед нами ярчайший образец литературы того типа, о котором Набоков (имея в виду литературу как таковую) говаривал, что она — «феномен языка, а не идей», — эта вот мысль должна быть отвергнута как ложная. Именно что идей, да ещё каких! Философских: о природе истины — куда более сложной, чем то, чем её принято считать, — и, в конечном счёте, реальности.

(«Мы те, кем мы притворяемся», — говорит психоаналитик Радину — и, по всей вероятности, это значит что-то вроде того, что (а) ложь просачивается в истину и трансформирует её; (б) ложь обладает собственной истинностью — и вряд ли это исчерпывающий список вариантов.)

Этот чувственно перенасыщенный, избыточный в своей витальности роман — на самом деле умозрительнейшая конструкция. Лишённая кафкианской прозрачности, кафкианского родства с платоновыми идеями — эта история совершенно кафкианская по существу, и Кафка — не называемый по имени — цитируется на этих страницах не всуе. Цитаты из него да ещё из Борхеса — указатели на подлинную природу повествования.

Что до внешних признаков детектива (связанного, как мы не забываем, с выяснением истины напрямую) — они нужны тут, рискну предположить (конечно, и затем, чтобы вернее заманить читателя в ловушку, но наверняка ещё и), затем, чтобы проблематизировать в его сознании представление об истине.

И ведь это никак не о том, что истины не существует. Ещё как существует — просто она вертит людьми как сама того захочет, и, главное, намного превосходит все наши представления о ней. Её присутствие-отсутствие, её ускользание чувствуются телесно, как дуновение в затылок. При этом истина безлична, у неё нет собственных интересов как таковых, она не субъект.

О взаимоотношениях человека с нею проговаривается, сам, вероятно, того не ведая, Радин: «Я ошибаюсь, это очевидно, я что-то упустил. Вот откуда тревожность последних дней. Так чувствует себя человек, который шёл на свет в конце тоннеля и вдруг увидел, что свет испускают личинки пещерных комаров».

Вот, может быть, основной сюжет этого текста, порождающий все остальные: сложная игра Истины и Иллюзии — как света и тени или, что, может быть, точнее — двух видов света, создающая нефиксируемый, подвижный узор.

А реальность, данная нам в ощущениях и простодушных пониманиях... Ну что реальность? Игра света, проекция стены лиссабонского монастыря.

Валерия Пустовая

Проснулся ясновидцем

В романе Александра Бушковского есть занятное противоречие. Герои у него грузчики, метафоры строительные (небо то «цементный раствор», то дырявый «рубероид», злодей ликом бледен, «как гипсокартон»), места действия: больница, покосившийся деревенский дом, квартиры на городских окраинах, где из предметов роскоши — «пластмассовый хрусталь». В то же время бригадир грузчиков судит о рекламных виршах столь основательно и деликатно, что хочется квалифицировать это не как пародию — а как образец литературной критики.

Повествование ведется от лица непризнанного молодого рифмоплета, тоже грузчика, чья жизнь, как и жизнь его бригадира, да и всей бригады, резко изменилась после встречи с доходягой Пятаковым, в заглавии романа представленным «ясновидцем». Но есть и всеведущий автор, которому дано заглянуть в дневники Пятакова, когда не был он еще ни доходягой, ни ясновидцем, а на утренней кухне выбирал между запоем и самовыражением: «Пиши, Гавриил, пиши! Что тебе еще делать? Опять запить? Не поможет, сам знаешь». «Запить», записать в дневник — или «книжку почитать»: такой разброс возможностей оригинально подсвечивает Гавриила Пятакова, пока еще никому, включая собственную жену, не интересного строителя. Повествование о нем, кстати, пестрит книжными ассоциациями, особенно из литературы детско-подростковой: пятачки и медвежата, мушкетеры и мальчик, обставивший пиратов Стивенсона.

Двойной источник повествования — уже лихо для с виду однолинейной истории о том, как обычный человек обрел дар прозорливости и успел помочь кое-кому из случайно подвернувшихся людей. Но и сам этот дар усложнил структуру романа в разы: благодаря

ему мы получили возможность узнать поворотный момент в жизни бомжа, о котором убивается в первой главе будущий ясновидец, и поучительную предысторию деликатного бригадира, когда-то повелевавшего «ордой» бандитов, и воспоминание о малодушном самоотводе от любви, терзающее повествователя-рифмоплета. И это все в довесок к другим многочисленным случаям, поворотам, стыдным и роковым воспоминаниям: как повествователь теряет брата, а Гавриил Пятаков — деда, и почему родители повествователя разошлись, бригадира сторонилась жена, а брак Гавриила изначально, считай, недействителен.

С момента преображения Пятакова в ясновидца в роман вступает и единственный настоящий злодей — не юный уже мужчина, которого автор, однако, зовет Петюшей. Тоже оригинал: филолог из семьи бульдозериста. И вот нам открывается его прошлое, из которого тянутся психологические мотивировки его проступков в настоящем, но и прошлое, и настоящее показано отрезками — законченными, почти самостоятельными историями.

Злодей Петюша безжалостно подсвечен иронией. Он «с блеском» защитил диссертацию о влиянии инквизиции на литературу — и скупает атрибуты несостоявшейся армейской службы. И собой не романтический герой, каким хочет казаться: у него маленькие глазки и коротковатые ноги. Меряет успех вниманием женщин — и завлекает их враньем или деньгами. Мечтает быть «лидером» и «покорять» — и наутро после первого своего преступления отсиживается в уборной. Он мешает жить скромной бригаде грузчиков, куда по случаю поступил работать осененный ясновидением Пятаков, — но он очень нужен автору, который иначе не знал бы, как сшить множество драматичных микроисторий в роман.

Внешняя коллизия появляется в романе только благодаря вмешательству Петюши.

Александр Бушковский. Ясновидец Пятаков. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022.

И это подчеркивает его чужеродность, иноприродность повествованию.

«До больницы врагов у Гаврика не было», — замечает повествователь. Но слово «враг» было: в сцене похорон деда, когда Гаврику передают дедов «наказ» вместе с таинственной старой книгой. Сцена читается как сказка. Герою вручают артефакт, наделенный силой, с условием регулярно к артефакту обращаться — «иначе быть беде». Отчего ощущается сказочность? Оттого, что Гаврик не понимает, какую книгу ему вручили, зачем ее читать, да и как — если «тут почти ничего не понятно». «Зато враг понимает», — таинственно отвечают ему. Гаврик далек от веры, но в память о деду «катал во рту, как леденцы», слова молитвы из книги. Вот только при первом жизненном испытании забросил.

В сказке за нарушение дедова «наказа» и небрежение артефактом герой хлебнул бы горя — а в романе как определишь границу счастья и беды? Бушковский ведь пишет не о грузчиках — бери шире: о людях самых обыкновенных, «невзрачных» внешностью и судьбой. Не удивительно поэтому, что чужеродный им Петюша мечтает доказать свою «исключительность».

В романе Бушковского нет счастья — есть вспышка острой на него надежды. Но нет и беды — потому что рядом всегда маячит возможность худшего сценария, который удалось отвести случаем, а то и чудом. Чудес в романе о ясновидце будет достаточно, однако со стороны, тому же чужеродному Петюше, они могут видаться простыми совпадениями. Они не зрелищны, их не посчитаешь за экшн — в отличие от проказ Петюши, которого недаром автор характеризует «артистом».

Тогда понятно, почему злодей в романе один. Он принадлежит пространству, которое автор мало интересует: миру внешних связей, подогреваемых интригой, показушной красоте жизни, гонке за лидерство. Коротконогим и проворным Петюшей автор отделяется от мира, на потребу которому пишутся такие истории — с антагонистами, преследованиями, трюками и разоблачениями. Злодей, говорю я, в романе один — и это еще одно принципиально важное противоречие. Ведь Петюша так никого и не сгубил. А вот деликатный бригадир, владевший «ордой» бандитов, валил противников не считая, пока не выгорел — буквально и психологически — на вредной этой работе. И все же злодей не он, а Петюша. Потому что маркируются и растут герои Бушковского в пространстве, где внешний счет, внешние поступки не так важны, как душевные их последствия.

Тогда понятно и то, почему дробность не мешает художественной убедительности романа. Да, от микроисторий в романе пестро, и при перечитывании я с удивлением отмечаю, что жестокое разочарование в любви пережил в молодости ясновидец Пятаков, а вовсе не трепетный рифмоплет-повествователь. Истории, вереницей рассказываемые в романе, можно атрибутировать любому симпатичному персонажу. Всякий тут мог бы одарить бомжа круглой суммой, а потом жалеть, что столкнул человека в запой. Содрогнуться от созерцания утиной охоты в городе. Присвоить в бытовке бесхозную обувь. Жениться по дури или по любви. По инерции стрелнуть в шорохнувшую веткой белочку и потом каяться до ада наяву. Есть и прямо перекликающиеся мотивы: у двух персонажей хулиганы нарочно сгубили собаку, двое молитвы «без веры во рту катают». Попытка составить из микросюжетов конструкцию покрупнее выглядит искусственной.

И все же в романе есть источник цельности. Это сам мир Александра Бушковского, который, даром что реалистичный, оставляет ощущение личной вселенной, от мира широкого отгороженной. Неслучайно в ранних его произведениях появляется мифология северных «индейцев», схоронившихся в деревнях отгородского тлена, а первый роман — «Рымба» — назван по имени острова, выплывающего из бурь российской истории под прикрытием местных легенд.

Новая книга закрепляет приметы островного мира. «Тело — мясо, а то, что заставляет его чувствовать думать, просто так не убьешь», — в этом убежден даже тот из героев, который не сподобился мистически созерцать свое тело, кувыркаяющееся в потерпевшем аварии авто. Прозу Бушковского отличает страстная внутренняя сосредоточенность. В сравнении с ней страсть плотская — сюжет легковесный: покрутит и отпустит, не оставив рубцов. Герои Бушковского живут интенсивно: дерутся и служат, рыбачат и охотятся, строят дома и семьи, заводят машины и собак. И все же они будто одной ногой не здесь — а в пространстве испытания смысла.

Духовная жизнь в прозе Бушковского — манок и мука. Замечательно, что для исповедания этой жизни тут не востребованы ни особенные герои, ни специальный язык. Потому убедителен образ ясновидца, который трудно было бы не залить умилением, как сиропом, поскольку, в отличие от образа злодея, он иронии начисто лишен. Но что занимает ясновидца Пятакова в момент, когда будущие его последователи ошарашены тем,

что слышат его мысли и невольно открывают ему свои? Он тревожится, как бы не обделаться при всех в больничной палате, и наотрез решает отказаться от утки — пытается встать и пойти как мужик. Вкусив сверхъестественного, он сам остался человеком, притом таким, как был. Разве что поправило его, вернуло на путь, заброшенный в юности вместе с дедовой книгой. И не дар это сделал, не дар его спас: мы достаточно прочли о вялом воцерковлении Гавриила Пятакова, чтобы понимать и склонность его к чистой и правдивой жизни — и обычное, мирское, между работой и отходняком, к ней нерадение.

Важно заметить, что среди простых чудес романа есть и одно для Гавриила. Он попал в больницу, огорченный невозможностью достойно похоронить бомжа, в чьей смерти себя винит. В палате он знакомится с деликатным бригадиром грузчиков, который и организует похороны — благодаря дару вполне земному, лидерскому.

Подсвеченный иронией Петюша жалок — а вот смех над повествователем-рифмоплетом шкочет и приподнимает, как пузырьки не употребляемого в романе шампанского. «Неимоверным, титаническим усилием воли и напряжением всех сил, душевных и отчасти даже физических, я попытался обнаружить в себе гений, но, увы, не обнаружил». Вторая глава, где повествователь впервые показывает себя, полна тонкого, стилистической отделки, юмора. А чего стоит кличка его собаки — Офелия? Ирония над единственным видимым врагом в романе порой нарочита. Зато писательская самоирония удалась. Бушковский — мастер по оружию, острием направленному к себе.

Герои Бушковского пишут, потому что пишет он сам. А на детскую литературу ссылаются, потому что она тоже до некоторой степени островной жанр, вырванный из лап большого мира, удержанный от края. Положительные персонажи Бушковского, которые не становятся хуже оттого, что мы легко можем присвоить эпизоды биографии одного другому, — род автофикшна.

В романе есть доля наивности — «индейской» бесхитрости. Бушковский не ставит защиту от циника. Вот разбившегося на загородном шоссе бригадира подбирает поп на «буханке». А на могилке напрасно загубленного зверька появляется крестик из лесных веточек. Но роман не агитирует. Потому что в нем, как и вообще в прозе Бушковского, уловлен главный парадокс веры. Чем ближе ты к правде — тем дальше от правоты. Чем

сильнее твой дар — тем меньше владеешь собой и судьбой.

Противостояние Петюши и Гавриила в романе олицетворяет эту развилку, принципиальную для героев Бушковского: утвердиться ли на земле самому — или позволить через себя явиться правде. А правда Бушковского в том, что одновременно пойти по двум этим дорогам человеку не дано.

Роман «Ясновидец Пятаков» для меня сигнал, что Александру Бушковскому пора осознанно выбрать свой жанр, свою правду в литературе — подобно тому, как выбрал он правду духовную. Сохранив внятную канву событий, связать их в большой сюжет не скрепкой внешнего противостояния — а внутренним напряжением, незримой коллизией, которая в его прозе волнует сильнее авантюры.

Сейчас же хочется выделить этот роман как симптом. Много лет назад исследовала прозу, построенную вокруг образов пророков — земных проводников обетованной истины (статья «Пророки второй оси» — «Октябрь», 2007, № 10). Не самое широкое направление, но заметное. Вот и теперь трудно не заметить, как «Ясновидец Пятаков» Бушковского намечает новый виток пророческого сюжета в соседстве с «Ведяной» Ирины Богатырёвой (М.: Эксмо, 2020). В свете этого направления не так оказывается важно, что пророк Бушковского воспитан христианской традицией, а аналогичный герой Богатырёвой проникается духом лесным, языческим. Первый подсказывает людям, второй прежде всего выручает зверей. Первый заботится, как отлетающую душу сберечь от бездны, — второй защищает дикую природу от уничтожения. Первому спасительна молитва — второго осеняет любовь. Далекое ценностно, образы эти сближаются в нашем запросе на них. Герой-пророк, как бы ясно ни видел, — симптом мутного времени. Когда теряется вера в абсолютное и высшее, загораются огоньки ближние, ручные. У персонажей, окружающих пророка, есть выбор: обогреться у источника света или, буквально-криминально, его «загасить». Но и Бушковский, и Богатырёва показывают, до какой степени люди далеки от того, чтобы пророку сопутствовать. И в этом, думаю, главная правда таких романов, острием направленная уже к читателю. Можно не вестись на огонек чужой веры — но трудно в свете ее не чувствовать, как мало тепла источаешь сам.

Николай Александров

Музыка волн. Отклик из прошлого

«Современный писатель» (или автор) — понятие достаточно общее, даже если считать, что оно относится к синхронному состоянию литературы, текущему периоду. Современность (если ее понимать как процесс с характерными типологическими особенностями) то растягивается, то внезапно обрывается, то есть меняет свою типологию, причем иногда вовсе не (или не сразу) упраздняя прежнюю. Можно сказать, у каждого своя современность: один принадлежит актуальности, какому-то моменту настоящего, другой как будто свидетельствует о всей современности, преодолевает хронологию и переходит в историю. Тогда приходится использовать, например, такой странный и как будто внутри себя противоречивый термин — «современный классик». Иными словами, мы предполагаем в своей оценке, что фигура автора — знаковая и значимая для целого исторического отрезка, сопоставимая со знаковыми фигурами прошлого.

Все это справедливо, если мы остаемся в рамках синхронного подхода к литературе. Диахрония, то есть по существу и по большей части область филологии, имеет дело прежде всего с типологией, характерными особенностями и приметами времени и, по сути, к оценкам безразлична. Ей важен и интересен всякий, кто в современности участвовал, ее формировал, вбирал в себя или свидетельствовал о ней. Ее подчас интересует то, что ускользнуло, было вытеснено, не закрепилось в общей исторической памяти. Филология в этом смысле подобна антиквару, букинисту, собирателю редкостей. И, кстати говоря, нередко бывает так, что именно не замеченное современностью оказывается ценным. Разумеется, в зависимости от того, как эту ценность понимать.

Неол Рудин. Гул Москвы: Бессюжетные поэмы и другие произведения / Сост., вступ. ст. и комм. Ю.Л.Мининой. — М.: Водолей, 2022. — 75 с.

Но бывает и по-другому. Прошлое, вытасченное на поверхность современности, выглядит даже не как странная глубоководная рыба, а как свидетельство допотопной моды.

И здесь оказывается важна еще одна вещь: судьба текста (или текстов). И судьба автора.

Огромный, семисотстраничный том произведений Неола Рудина, подготовленный Юлией Мининой, снабжённый комментариями, примечаниями и обширным предисловием, сам по себе — серьезная, масштабная филологическая работа, он заслуживает внимания уже хотя бы потому, что и сам автор, и его творчество долгое время не только не были в сфере читательского внимания, но находились на периферии интересов филологов. Сын Тульского нотариуса, Неол Рудин (Николай Михайлович Преображенский), окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, который и окончил в 1917 году. Профессиональным юристом он оставался всю жизнь. К десятым годам относятся его первые литературные опыты. В 1910—1920-х годах его произведения выходили в авторских и коллективных сборниках, журналах «Студия», «Млечный путь», «Маковец», которые издавались братьями Алексеем и Николаем Чернышевскими. Вокруг этих журналов сложилось литературно-художественное объединение «Искусство — жизнь». Со многими участниками этого кружка Неола Рудина связывали тесные дружеские отношения на протяжении многих лет. Среди других авторов изданий Чернышевских — Игорь Северянин, Сергей Есенин, Борис Пильняк, Хлебников, Николай Асеев, Пастернак.

После 1923 года Рудина перестали печатать. Хотя он не переставал писать, занимался переводами (и, забегая вперед, нужно сказать, что его переводы бодлеровских «Цветов зла», отмеченные Евгением Витковским и включенные в знаменитое издание «Век перевода», замечательны), но попытки

издать что-либо были тщетными. «Моё <...> творчество никому не нужно. Если успею завершить томик лирических заметок в прозе — элегий, мыслей, описаний, встреч, то передам в литературный музей», — писал Николай Михайлович в одном из писем в 1955 году. Первые публикации появились лишь в 1994 году. «Гул Москвы» по существу вобрал в себя полный корпус текстов Неола Рудина: от первых стихотворений до поздних произведений, статей, заметок, фрагментов и черновиков, писем.

Литературные пристрастия раннего Неола Рудина очевидны. Точнее сказать, он вырос из общего бурления литературной среды 10—20-х годов. Здесь и символисты, и Маяковский, и Есенин, и Хлебников, и Кручёных, и Северянин. Образцы подражания, «агенты влияния» в его первых стихах очевидны, и поэтические заимствования (несмотря на общую эклектику) прозрачны. Здесь рядом с футуристической заумью

Чи ма бр хра но Хузе рі да
Третровы скранол строн...

соседствует (и, кстати говоря, побеждает) эго-футуристическая северянинская манерность:

Я люблю прикинуть тесно
К молодым туманам,
Когда утро, став отвесно,
Налегло к полянам.
Моросит. Безлюдно.
Чёрен старый сад;
Вдаль ползёт так нудно
Хоровод оград.
Белый рубль фонарит
В небе одиноко...
Сырость густо шарит
Лепит мокрый клоч.
Задышав вуалью,
Смял туман сады;
Искрятся синьсталью
Лужные следы.
Редко вдоль решётки
Гаснет силуэт,
И пьянит без водки
Сумрачный навет.

Но в этом разностилии он улавливает и утверждает в себе один из главных императивов времени: «Красиво только новое и оригинальное. Даже маленькая оригинальность прекрасна, иногда глупа и никогда уродлива. Ось современности — сенсация»; «Вечна только красота новизны и невероятия. Единая красота — монстр». Сам тезис для Неола Рудина впоследствии если и не будет столь очевидным,

но потеряет силу, но радикальная интонация останется. В соответствии с этой установкой на оригинальность он проводит и свои поэтические эксперименты, несколько механистические, правда:

Плы-сонно-лыли вы в гондо-ночелле
В ка-глубоналах Веневедеции.

Его увлекает метафора, заключенная в жесткую синтаксическую рамку. Она кажется самодостаточной, ритмообразующей. Она сильнее монотонного размера, вернее, и размер рядом с ней как будто излишен. И Неол Рудин переходит к поэтической прозе («поэмам в прозе»), где ритм задается потоком категоричных метафор. Или отрывистых реплик, услышанных голосов.

И действительно, из опубликованного им именно прозаические (или к прозе тяготеющие) тексты наиболее любопытны: «Кабачок», «Старая деревня», «Старик», «Дед-травоед». Здесь сюжет лишь смутно угадывается, шатается, или застывает на месте, превращаясь в сцену, картину, бурную разноголосицу. Здесь характеры порой сведены до реплик в едином потоке восклицаний, криков:

Половой!
сам косорылый... твою... собачья...
Заплакала сволочь всякая.
— Вот-с привёл: барышня чего
лучше-с?
Пляску, так пляску!
Пощёчину ей...
Громче!
Пётр Иваныч!
— Воняте сюда пришли?
В канкане жёлтых фраков.
— Милая, эти морды...
Зачем яичницу опрокинул? Вон отсюда,
стерва!
...хари, рыла...
Бубенчиками курносая радость.
Ура! — кричу я.
Танька!
Пошёл в...
— кто ты, кто?
Тихо.

Сюжет, сюжетное письмо, оформленность в историю, словесная протяженность явно Рудину не давались или раздражали, как и плавный ритм долгих описаний. Он стремился описание ужать до образа, до сравнения, до яркой метафоры. Отсюда возникает жанр, который он отстаивал, из этого складывается, видимо, главная его книга — книга лирики в прозе, бессюжетных поэм, которая и составляет

центр «Гула Москвы» — «Музыка волн». Она вполне концептуальна и осознанна.

«Каждая поэма имеет свою тему, нередко выраженную симфонией образов. Встретятся безродные метафоры. Связь идеи — по интуиции. Смена образов и настроений — без мотивов. Без прикосновения. Мысли и ощущения пролётны. Музыка волн.

В поэмах смутное единство, подчинённое одному лирическому волнению современника.

Всё течёт. Всё только волны моря и галактики, зарево городов и глаза лесной воды, симфония улыбок и ожоги скорби, электроволны воли, света и воздуха, волны огня, истории и революции, науки всей жизни.

Волны стихий, музыки, красоты, поэзии.
И волны души. И тайны волн.

Волны смешиваются в нас и взлетают.

И недвижимые образы насакаивают, кричат,
и несутся, несутся как безумные».

Здесь, конечно, «симфонии образов» навеяны Андреем Белым, да и странно было бы на Андрея Белого вообще и на его «Симфонии» в частности не намекать, поскольку Неол Рудин от Андрея Белого — хотя бы с формальной точки зрения — взял очень много.

Но более важно другое. Само по себе это небольшое предисловие — поэма в прозе. И оно не просто отражает, а ясно выражает главную идею, основу мировосприятия и суть эстетики Неола Рудина. Не случайно это предисловие будет варьироваться и возникать в других текстах «Музыки волн»: «Все творцы, все поэты впитывают в себя волны миров, природы, людей <...> и как медиумы излучают их»; «Впитываю волны мира, волны раздумий и страстей, волны и волны, — кто со мной? Но сердце, сердце, пожравшее всю вселенную <...> куда ты? стой, стой!» Эта идея — род пантеизма (кстати, о Пане Неол Рудин, конечно же, не мог не написать и написал). А зерно этой идеи — или интуиции — посетившее Неола Рудина озарение, то есть вполне биографический факт, также описанный в одной из поэм в прозе. Она так и называется «Озарение». И написана как будто в ином ключе — без столкновения метафор и сравнений, без образной экспрессии, вскриков и восклицаний. Ее стоит процитировать.

«В летний знойный день я сидел в саду подмосковной дачи и, прервав чтение, смотрел вверх на игру солнца в листве деревьев.

Тихо и спокойно я стал внутренне видеть и ощущать всего себя, всё своё существо и своё сознание окружёнными и объятами огнечетным разумным сиянием или облаком. Почему это мне представилось, не знаю. Я находился в созерцании, похожем на сновидение, но я не спал. Выйти из этого состояния от меня не зависело. Я не видел окружающего мира. Мне виделись одухотворёнными — пейзаж, вещи, вода, существа и всё-всё как дорогие родные братья. Я чувствовал, что все мы — один живой организм, заполненный той же светящейся одухотворённой энергией, точно прозрачной, золотистой кровью. Местами в ней виднелись затуманенные тёмные точки. И дома, и предметы казались нежно окутанными тем же облаком.

Я был охвачен непонятной стихией и ощущал дивную, совершенную полноту жизни, слияние со всем миром, я растворился во всей вселенной, соединился со всей природой.

Времени не стало».

Мир Неол Рудин видит как некое волнующееся, движущееся целое: волны истории, революции и катастрофы, смены дня и ночи, изменения в природе — это всё один живой организм. Почувствовать его пульс, колебания, его течение в самом себе — и есть главная задача. Выразил ее Неол Рудин и в стихотворении, которое показательно хотя бы уже тем, что через голову футуристических экспериментов обращается к каноническому звучанию:

Забуду всё, отдамся ветру,
с волной и чайкой на лету.
И километр за километром
В пространство чистое пойду.
Ушли слова и состязанья,
Вливаюсь в разум бытия,
И вдохновенное познание
Всем существом вдыхаю я.
Так мыслят яблони и дети,
И нет вселенной — мы одно!
С тобою лучезарно ветер,
Пить шестикрылое вино.

Да, конечно, есть «шестикрылое вино», но и оно откровенно пахнет классическим серафимом. Гораздо больше раздражают удалое есенинское начало, «километры», «состязанья», «разум бытия» и мыслящие яблони, странная реинкарнация «мыслящего тростника». Но это уже приметы другого времени, другой современности.

Поэмы в прозе Неола Рудина сегодня довольно странное чтение. Почти такое же, как и чтение стихов в прозе отца Рудина литературного — Ивана Сергеевича Тургенева. Они производят впечатление утомительной восторженной монотонности. Они все в восклицательных знаках — какие-то медитативные лозунги, испещренные метафорами, и от этого потока лозунгов рождаются усталость и раздражение:

«Истое счастье! радость звериная! вдруг взлететь, ощутить, вдруг схватить жаркими руками — светлую живую истину... жизнь! как прекрасна, как дорога, как бесценна она!»

«Сколько надо раскалённого разума, какой взрыв души... но кричим, кричим, что самое драгоценное — это родная ветка берёзы!»

«Ты вошла в тишину страданий. Твоё имя прозрачно. С глазами из синей печали... в грации мыслей и снов. — Прими тайну нежности.

Тише.

Это минувшее уходит за порог».

«Как страстно живёт жизнь, как стучат все побуждения.

Где же голос цветов, изображающий их радугу и благовония? Все леса, луны и воды глядят одними влажными глазами и мыслят общим током».

О, эти влажные глаза!

В биографии Неола Рудина, как пишет в предисловии Юлия Минина, много лакун. Восполнение их, наверное, многое прояснит в его человеческой судьбе. Но его литературная судьба печальна. Он по-настоящему не утвердился в своей современности, в своем «футуристическом» времени. Но именно эта современность, именно это время было и оставалось до конца для него самым важным. Он постоянно к нему возвращался, правил старые тексты, собирал сборники из своих произведений и прежних произведений «маковцев». Ревниво следил за публикациями о литературе 20-х годов. Ходил по букинистам и собрал огромную и уникальную библиотеку. Он прошел мимо Заболоцкого и называл его «стиходелом», считал, что Пастернак исчерпал себя и ему нечего сказать. А его отзыв (точнее, тезисы отзыва) на роман «Доктор Живаго» чудовищен и несправедлив. Он как будто пытался войти во всё те же волны, услышать ту же музыку — вопреки даже собственному мировоззрению.

Услышать отклик.

Евгений Абдуллаев

Дивный новый канон: серия вторая

«Мисс Джонсон! У нас радость! Доктор тронулся!»

Вот и у нас — как в известном фильме Захарова — тоже радость: русская классика снова актуальна.

Нет, ее не стали больше читать. О ней стали больше *писать*. Причем — в определенном разрезе. В разрезе (здесь это слово имеет почти буквальный смысл) военно-политических событий последнего полугодия.

Русскую классику снова сбрасывают с корабля современности. Только на этот раз не как что-то устаревшее. А как нечто более чем живое — и имеющее прямое отношение к тому, что началось 24 февраля.

Несколько цитат.

«...Русская литература с самого начала и по сей день служит идеологической цели, поставленной многими российскими правящими элитами. Даже самым выдающимся и “свободным” романистам не удалось избежать этой ловушки. ...Общая линия мысли в русской литературе последовательно строится на прославлении правящей верхушки. Чаше всего она (русская литература. — *Е.А.*) оправдывает военную агрессию и российскую экспансию. ...Взяв русскую книгу, вы берете подозрительный предмет, возможно, бомбу, которая не взорвалась. Передайте его профессионалам, которые смогут его обезвредить, или просто выбросьте».

Это из статьи украинского литературоведа Ростислава Семкива «Как русская литература служит русскому империализму»¹. Комментировать не буду; психологически это можно понять. Как и утверждение украинского философа Володимира Ермоленко, что «русская классическая литература, переполненная бесчеловечным национализмом, сегодня читается тревожно знакомо». И там же: «Если вы ищите корни насилия России над соседями, ее желания стереть их историю и ее неприятие идей либеральной демократии, вы найдете некоторые ответы на страницах Пушкина, Лермонтова и Достоевского»².

И снова воздерживаюсь от комментариев. Да, идут военные действия, и попытки нанести контрудар по объектам неприятеля вполне понятны. В том числе — по литературным. В конце концов, что-то похожее было и в русской мысли столетие назад, когда Владимир Эрн отыскал корни прусского империализма в философии Канта: «Немецкий милитаризм есть натуральное детище Кантова феноменализма» («От Канта к Круппу», 1914).

Но вернусь к нашей печальной и интересной современности.

К поиску «корней насилия» в русской классике подключились и некоторые слависты. Риторика здесь, правда, поспокойнее и подход более избирательный. Например,

¹ *Semkiv R.* How Russian literature serves Russian Imperialism // Сайт «УКМС». 5 апреля 2022 г. (<https://uacrisis.org/en/ru-literature>).

² *Yermolenko V.* From Pushkin to Putin: Russian Literature's Imperial Ideology // Сайт Foreign Policy. 25 июня 2022 г. (<https://foreignpolicy.com/2022/06/25/russia-ukraine-war-literature-classics-imperialism-ideology-nationalism-putin-pushkin-tolstoy-dostoevsky-caucasus/>)

американский литературовед Тим Бринкхов, размышляя, как бы отнеслись к «специальной операции» (называет он ее, разумеется, по-другому) Толстой и Достоевский, приходит к выводу, что Достоевский ее, скорее всего, поддержал бы, а Толстой — нет¹.

Впрочем, и Толстой, как выясняется, не без греха.

«Образ, например, Польши, который Толстой дал миллионам читателей, был крайне негативным, — рассуждает о "Войне и мире" другая американская славистка, Эва Томпсон (Хьюстонский университет, Техас). — Я имею в виду негативность в том смысле, что это была недостойная существования страна... В каком-то смысле роман Толстого причинил больше вреда не только Польше, но и Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Украине, чем многие, многие другие более очевидные вещи, которые произошли в истории».

Вред этот, по мнению исследовательницы, состоял в том, что Толстой не отразил в своем романе народы этих стран, которые, в результате победы над Наполеоном «вскоре будут русифицированы, или уже были русифицированы».

И — уже почти знакомый вывод: «Когда дело доходило до политических вопросов, русские писатели склонялись на сторону российского правительства»².

Мог бы привести еще цитаты — но, думаю, достаточно. Опять же, по comments. Трудно, конечно, отделаться от ощущения, что сам я читал каких-то *других* русских классиков и вообще какую-то другую русскую литературу. Другого Толстого, другую «Войну и мир»...

Но привожу это всё не для полемики. В этой «барометровской» рубрике — как уже не раз писал — меня интересуют прежде всего тенденции. Изменение литературной атмосферы, движение больших словесно-воздушных масс.

С этой точки зрения, дружные залпы по русской литературной классике лишь *отчасти* можно объяснить реакцией на военные действия.

Попытки разрушения культурного канона — и литературного как его части — идут уже давно. И не какого-то конкретного — а самой идеи канона. Канона как иерархии. Именно иерархичность и вызывает всё более растущее и ширящееся раздражение.

Пару лет назад я писал об этом в этой рубрике. Очерк («Новый дивный канон») был посвящен массовому монументоборчеству, охватившему западный мир («Дружба народов», 2020, № 10). Напомню, что среди памятников, которые борцы с колониальным наследием обмазали краской, были и памятники Вольтеру и Махатме Ганди. И у них откопали «корни насилия» (колониального).

Цитировать самого себя не очень хорошо — всё равно, что ходить по улице, поглядывая в зеркальце. И всё же процитирую.

«Идет перетряхивание западного литературного канона.

Канон этот еще недавно казался незыблемым. Бывали и попытки ревизии: одних не устраивало неуважительное отношение Рабле к церкви, других — Шекспира к женщинам, третьих — Киплинга к азиатским и африканским народам... Но при этом всё же не забывалось, что эта канонизация связана с литературными заслугами, а не с социальными, религиозными и прочими взглядами авторов. И, во-вторых, то, что сегодня может восприниматься как проявление расизма, шовинизма и т.д., в то время, когда эти авторы жили и писали, таковым могло не быть».

Завершался очерк осторожным прогнозом, что подобное может ожидать и в отношении «больших имен» русской литературы. У многих из которых тоже можно найти расово-, гендерно-, религиозно- и прочие некорректные высказывания. При желании. А желание это, как показал поток разоблачающих русскую классику публикаций (некоторые я привел выше), очень велико.

¹ *Brinkhof T.* What classic Russian literature can tell us about Putin's war on Ukraine / Сайт Big Think. 3 марта 2022 г. (<https://bigthink.com/the-past/russia-literature-ukraine-putin/>)

² *Thompson E.* Imperialism in Russian Literature // Сайт Review of Democracy. 7 июня 2022 г. (<https://revdem.ceu.edu/2022/06/07/imperialism-in-russian-literature/>).

Мир снова стал черно-белым. Жить в черно-белом мире физически труднее, но интеллектуально удобнее. Свой — чужой, наше — не наше. И так далее.

Любая сложность, которая не вмещается в эту бинарную картинку, упрощается, редуцируется, опошляется.

Как написал 30 мая на своей страничке в соцсетях Валерий Шубинский: «...Какая-то тотальная неприязнь к культуре как системе ценностей... которая распространилась в последние годы во всем мире среди людей, претендующих на прогрессивность. Традиция априорного уважения к духовной и эстетической работе человека зачеркивается якобы во имя очень хороших и правильных вещей — расового и гендерного равенства, борьбы с насилием и т.д. Хорошие идеи при этом карикатурно упрощаются, утрируются и превращаются в свою противоположность. Потому что на самом деле тут вовсе не борьба с “мертвыми белыми мужчинами”, империалистами и проч. за права меньшинств, а ненависть троечника к сложности мира (даже если на политическом уровне сейчас — временно! — “всё просто”, на метафизическом просто никогда не будет), к независимости художника и мыслителя».

Можно ли отыскать в русской классике имперские симпатии? Да, безусловно¹. Другое дело, насколько важным был этот момент в их художественных мирах, в их произведениях — тех, благодаря которым они и вошли в классический канон. Скажем, у Крестовского или Каразина имперства было на несколько порядков больше, чем даже у Достоевского. Но со всем своим замечательным имперством они так и остались писателями второго-третьего ряда.

Классический канон не дан раз и навсегда. Одни имена вытесняются, приходят другие. Канон — это всегда некоторая условность, хотя и очень важная. Могут сосуществовать и конкурировать несколько канонов, каждый из которых может претендовать на абсолютность. И это нормально.

Другое дело, когда к литературному канону подходят с принципиально вне-эстетических позиций. Всё это, опять же, было столетие назад, когда в произведениях русской классики искали зашифрованное отражение классовых интересов их авторов. Очень влиятельная была школа, Фриче и Переверзева; с немалым трудом и кровью этот примитивизм преодолели... для того, чтобы сегодня снова к нему вернуться.

«Оставьте классиков в покое, они ни при чем», — пишет Галина Юзефович в заметках о «кэнселинге» русской литературы на Западе в своем Telegram-канале (12—14 апреля 2022 года)².

С одной стороны — безусловно. Обвинять классиков в действиях современных политиков (которые непонятно когда и как их читали и читали ли вообще) — занятие интеллектуально не очень честное.

С другой — и «оставить в покое» мы классиков не можем. Поскольку литературная классика остается классикой не потому, что проходят в школе, по сто раз экранизируют и так далее. Классика классична в той степени, в какой она современна.

Поэтому не могу и полностью присоединиться к призыву Юзефович «отказаться от идеи видеть в классиках вечных современников, комментирующих, поддерживающих или, наоборот, критикующих те или иные наши поступки сегодня».

Да, «вечными современниками» классики быть не могут — меняется время, меняется — постепенно — и канон. Но в остальном — классика жива именно тем, что остается референтным полем, обращаясь к которому мы интерпретируем современность и себя в ней. В противном случае это не классика, а просто литературно-исторический архив, более или менее любопытный.

И даже нынешнее «каноноборчество» в отношении русской классики — скорее, еще одно, пусть и не очень приятное, свидетельство ее актуальности. Так что у нас, можно сказать, даже радость. А то, что доктор тронулся — так ведь, по фильму, он затем и поумнеет, и научится читать важные книги. Хорошо бы, чтобы и у нас этим всё закончилось. Вопрос только, когда...

¹ Об этом мне тоже доводилось писать в очерке «Поэт и империя» («Знамя», 2016, № 6).

² Эти заметки, кстати, вызвали целую дискуссию на сайте журнала «Вопросы литературы».

Борис Минаев

Говорит молчаливое большинство

У Театра.DOC — новая площадка, называется красиво: DOC.industrial. И, действительно, вторая площадка самого известного московского театра, занимающегося современностью, пьесами молодых драматургов, написанных в жанре «вербатим», то есть документальными пьесами, созданными на основе интервью и «полевых исследований», появилась в одном из самых старых московских фабрично-заводских районов, возле «Авиамоторной». Кругом — трубы ТЭЦ, наскоро переделанные фасады старых московских заводов, превратившихся в «бизнес-центры», заправки, электрички, куда-то спешащая толпа.

И совершенно логично, что спектакль «Что вы делали вчера вечером?», по пьесе Дмитрия Данилова, им же самим (в соавторстве с Верой Дровениковой) и поставленный, нашел своего первого зрителя на этой площадке. В самом сердце не парадной, не гламурной, не розовошекой Москвы — а там, где люди просто живут, и порой довольно тяжело.

Собственно, эти люди — «люди толпы», незаметные, простые, усталые, лишённые страстей и великих замыслов, по классическому определению политической социологии, «молчаливое большинство» — это и есть вечные герои прозы и драматургии Данилова. И двух коротких пьес, сделавших его знаменитым в театральном мире, «Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой», и его романов, и рассказов.

В последней большой прозе Данилова — «Саша, привет!» — такой «герой из толпы», представитель молчаливого большинства стал участником жуткого социального эксперимента. Вот как описал этот эксперимент критик Николай Александров на страницах «Дружбы народов» (2022, № 6): «Гуманным правосудием Российской Республики Сергей Петрович Фролов за совершенное преступление приговорен к смертной казни. Приговор будет приводиться в исполнение на Комбинате Исполнения Наказаний. Здесь заключенный находится в достаточно комфортных условиях: не камера, а гостиничный номер, телевизор, компьютер, телефон, интернет, хорошее питание. Сад. День исполнения приговора не известен. Но однажды, по дороге на утреннюю прогулку, заключенного должен расстрелять пулемет по имени Саша. “Вас каждый день будут выводить на прогулку, в один из разов сработает автоматический пулемёт и расстреляет вас. Может сработать на пятый день, может через тридцать лет. Как повезёт”.

Как замечательно это “в один из разов”!

...Все буднично, доброжелательно, вежливо, в меру бюрократично: возьмите талончик, заполните формуляр, не хотите ли кофе, чаю — или коньяк? — пройдите собеседование».

Страшная сказка, проникающая в самую что ни на есть будничную, стертую, «малоинтересную» реальность — это, собственно, фундамент, опора, на которой держится и строится художественный мир Дмитрия Данилова. Некий допуск, некое

«окно возможностей», уводящие нас из этой тяжелой рутины — в мистические сны о повседневности. О чем, вообще говоря, эти сны? О том, что за опостылевшим, обрыдшим «массовому человеку» фасадом стандартизированной жизни, за этой унылой поденщиной и рутиной прячется что-то огромное, неведомое у жуткое. И смотрит на нас со зловещей ухмылкой.

Помню, когда я пришел в маленький подвальчик театра «Практика» и увидел «Человек из Подольска» и «Серёжа очень тупой», я был поражен фантазией автора: полицейские, которые задерживают, мучают и пугают неведомого Серёжу за то лишь, что он не может красиво рассказать о родном Подольске, о том, чем ему интересен и дорог этот город, три странных электрика, которые приходят, но никуда не уходят, хотя хозяин квартиры пытается от них не избавиться, пока не понимает, что они пришли не к нему, а *за ним* — ну, это надо не просто придумать, нет. Надо почувствовать весь кошмар нашей повседневности, чтобы это написать.

Данилов достигает этого эффекта с помощью своего метода фиксации, детализации окружающего; детализации настолько мелкой, подробной и фиксации настолько «автоматической», тотальной — что действительно становится страшно от самого этого перечисления.

«Мы видим, как Серёжа идёт по пешеходной дорожке к дому, идёт по тротуару вдоль дома, подходит к подъезду. Дом обычный, современный, многоэтажный, не элитный, не бизнес-класса, но и не старый, брежневский или хрущёвский, просто относительно современный московский многоэтажный дом, серии ПЗ, или КОПЭ, или П44Т, что-то примерно такое. Этажей в доме много — ну да, он же многоэтажный. Серёжа подходит к подъезду, прикладывает к круглой штучке на железной двери круглую штучку на связке своих ключей, раздаётся писк, Серёжа открывает дверь, входит в подъезд, здравствуйте, Наталья Семёновна, Наталья Семёновна величественно кивает, Серёжа идёт к лифту, вызывает лифт, ждёт, лифт подъезжает, Серёжа входит в лифт, нажимает кнопку своего этажа, лифт начинает движение.

Лифт движется долго, долго, очень долго.

Лифт движется, движется.

Лифт всё движется, Серёжа неподвижно находится в лифте...»

Вот привычный Данилов, причем заранее предупреждающий нас, что мы должны читать роман как «киносценарий», то есть пытаться увидеть то, что происходит, хотя на самом деле это, конечно, никакой не сценарий (хотя кино, поставленное по этому тексту, может быть и гениальным) — нет, это именно проза, в которой ярчайший абсурд должен прорасти сквозь самую серую обыденность.

Но в том, что драматург, писатель, а теперь уже режиссер Дмитрий Данилов сделал вместе с Театром.DOC — все немножко сдвинуто, все немножко не так, как обычно, все не похоже ни на «Человека из Подольска», ни на «Саша, привет!», ни на другие его вещи.

...Актер и актриса (на премьере, где был я, играли Коля Ноекёльн и Алексей Губкин) сидят в обычных офисных креслах на колесиках и медленно-медленно двигаются по кругу. На руках у них текст — вроде бы обычная театральная «читка». Читка пьесы «вербатим». «Что вы делали вчера вечером?» — ее герой с одним и тем же идиотским вопросом подходит к прохожим на обычной московской улице, в густой толпе идущих от метро. Зачем ему это надо? «Для театра? А что же это за театр такой?»

Документ, фиксация, интервью для театра — но странный документ и странные интервью. В бесконечном кружении этих кресел на колесиках, которое превращается само по себе в психологическую пытку, испытание, гипноз, в «стертости», «банальности» ответов на абсурдный вопрос — вдруг возникает некое зеркало.

Во всех прежних вещах Данилова сама реальность — жуткие полицейские, электрики с того света, адские бюрократические процедуры в последнем романе —

набрасывалась на «нормального» героя. Молодого, чувствующего, похожего на зрителя и читателя. Он недоумевал (поначалу), расстраивался, впадал в депрессию и истерику, но он в любом случае был *жертвой* этих странных бесов, живущих внутри нашего постсоветского, модернизированного не лучшим образом мира. Жертвой этой жуткой мистики, прячущейся внутри банальности.

В спектакле «Что вы делали вчера вечером?» получилось ровно наоборот.

Сам герой набрасывается на реальность.

Он сам ее допрашивает и мучает. Он сам хочет получить какой-то ответ.

Поначалу кажется, что это действительно «вербатим», интервью, взятые и записанные на улице. Но потом ты понимаешь — скорее всего это не так. Ответы банальны и пусты, социальные маски слишком привычны, реакции трафаретны, диалога почти никакого нет, тоска и бесконечная грусть — герой Данилова, который ходит и задает пустой, в общем, вопрос, глядится в это зеркало, пытается понять, чего же он хочет добиться от этих людей? Понять самого себя. Это зеркало, которое само смотрит в зеркало — такой бесконечный коридор пустоты.

Бандит, полицейский, пенсионер в деменции, пенсионерка, которая давно и с концами погрузилась в телевизор, женщина с «фантазиями» (но такими, от которых сразу хочется убежать, поскольку и они бесконечно банальны), и женщина, которую безумно жалко из-за ее бедности, усталости, отчаяния, алкоголичка и довольный собой молодой «инноватор» — вот оно, «молчаливое большинство», которое Данилов нарисовал очень простыми, очень схематичными штрихами. И когда возникает этот хор голосов, эта симфония пустоты — ты вдруг понимаешь, ради чего герой пьесы ходит и спрашивает.

Он пытается понять, о чем же все-таки говорит «молчаливое большинство». Ну, или о чем оно молчит.

В упорстве героя, который задает бессмысленный вопрос, в его готовности претерпеть за то, чтобы опять его задать, в его отчаянном героизме расковырять, нарушить эту гладкую пустоту, мы ощущаем, что здесь-то и есть главное. Главное, ради чего все это и задумано.

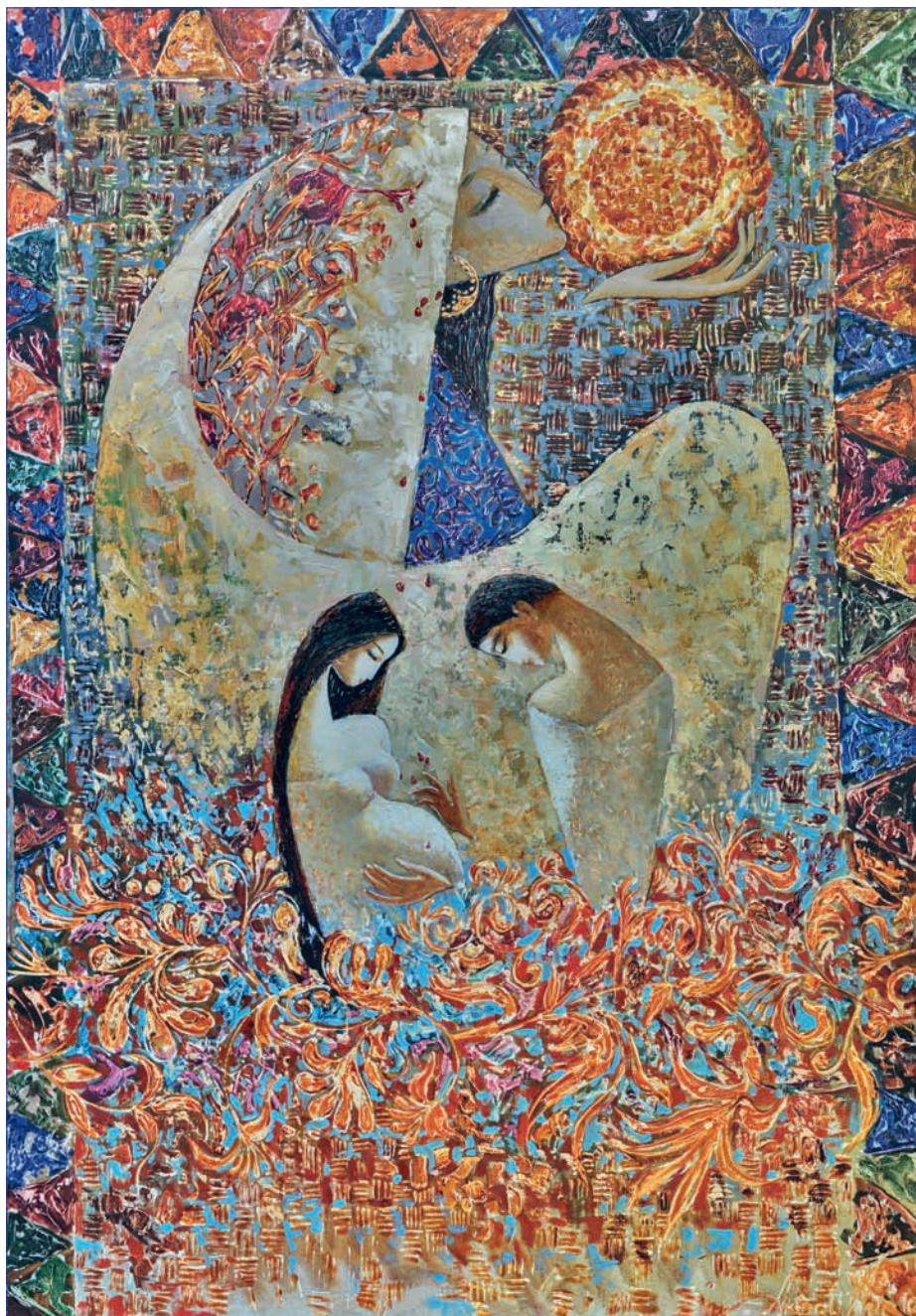
...Вся нынешняя реальность — потребительская, культурная, информационная, социально-политическая — в конце концов, выстроена в расчете на этих людей, на «маленького человека», на «молчаливое большинство». Это очевидная вещь, это не нужно доказывать — достаточно включить телевизор, посмотреть наружную рекламу, послушать в такси любое радио, просто пройтись по улицам.

Ну и рано или поздно возникает вопрос: а кто же эти люди, что же у них «внутри», способны ли они в принципе переживать и рефлексировать?

Спектакль, способный даже просто задать этот вопрос — о пустоте и смысле пустоты, — это, конечно, громадный шаг вперед и для всего современного театра, и для писателя и драматурга Дмитрия Данилова.

Эта своего рода «атака на пустоту», пожалуй, в нынешней реальности дорогого стоит. Отчаянная, героическая и немного донкихотская попытка.

Мне кажется, что такие экспериментальные и лабораторные театры, как DOC, — они, конечно, сейчас в лидерах по осмыслению нашей жизни. И я бы именно в их работе сегодня искал ответы на вопросы о нашем будущем.



Акмаль Нур

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛОД. 2012.
Холст, масло



Манана Бобохидзе

ПЕЙЗАЖ. 1995.
м.,х. 70x50



Манана Бобохидзе

ПЕЙЗАЖ. 1998.
м.,х. 30x40



Армен Амирагян

ЖЕЛТЫЙ МИР. 2012.
Картон, масло



Гусейнкули Алиев

МОСТ. 2010.
Холст, масло



Рахим Ахмедов

НАТЮРМОРТ НА ЖЕЛТОМ СЮЗАНЕ. 2004.
Холст, масло



Ольга Бакицкая

ПЕРЕКРЕСТОК. 2004.
Холст, масло



Левон Абраамян

НАТЮРМОРТ С ТАТАРНИКОМ. 2012.
Холст, масло

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

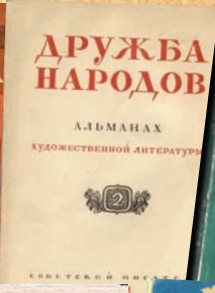
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

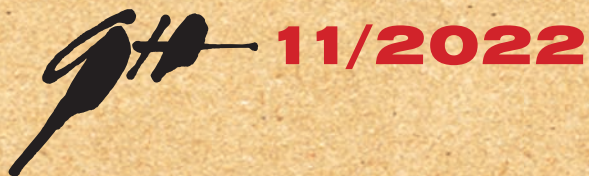
Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

**Максим Гуреев. Главы из книги
«Будьте как дети»**

«Он умеет играть на валторне и фисгармонии, умеет петь, бить чечётку и рисовать, осведомлён в показывании фокусов и игре на бильярде, умеет выступать на эстраде, ходить по перилам балкона на последнем этаже Ленинградского Дома книги, летать в небеса и там застревать, у него неплохо получается изображать муху и своего несуществующего брата Ивана Ивановича, ещё он, разумеется, умеет писать стихи, рассказы и пьесы, сочинять философские трактаты, наконец, он умеет придумывать псевдонимы, лазать по деревьям, напяливать шляпу так, чтобы она комично ложилась на оттопыренные его уши, как на жестяной карниз, умеет закатывать глаза, изображая покойника. Словом, Даниил Иванович Ювачёв-Хармс умеет всё за исключением одного: он не умеет любить детей — этих "жестоких и капризных старичков"...»

